
В.С. ВАРШАВСКИЙ
РОДОСЛОВНАЯ
БОЛЬШЕВИЗМА

КНИГИ ТОГО ЖЕ АВТОРА

Ожидание. Повесть, 1972 г.

Незамеченное поколение, 1956 г.

(Новое издание готовится к печати).

В.С.ВАРШАВСКИЙ

РОДОСЛОВНАЯ БОЛЬШЕВИЗМА

YMCA-PRESS
11, rue de la Montagne Ste-Geneviève
75005 PARIS

Обложка работы Arcady

ISBN 2-85065-007-2

ОБ АВТОРЕ

Владимир Сергеевич Варшавский принадлежал к тому эмигрантскому поколению, которое в своей книге о нем («Незамеченное поколение», изд. им. Чехова, 1956) он назвал незамеченным. Не замеченное в России, непроницаемой в двадцатые и тридцатые годы для внешнего мира, оказалось поколение это не замеченным и русской эмиграцией, где тогда еще безраздельно царили светила предреволюционной эпохи. Теперь, однако, уже невозможно стало разделять русскую литературу, русскую мысль по двум герметически отделенным один от другого мирам. Все, что пишется «там», все, о чем спорят «там», — доходит сюда, все здешнее доходит «туда». Русские искания, русские споры становятся опять общим спором и общим исканием. И можно сказать, что теперь уже сама Россия, а не отдельные «части» ее, начинают открывать то, что, хотя и по разным причинам, оставалось незамеченным и закрытым. Все это относится к тому поколению, к которому принадлежал Варшавский, и конечно лично к нему. Пускай пока что круг «открывающих» его невелик. Важно то, что кому-то он оказывается близким и нужным, что происходит и его возвращение в Россию, мыслью о которой, любовью к которой и верой в которую он буквально жил, никогда, ни на минуту не переставая сознавать себя русским писателем в изгнании.

О Варшавском-писателе, авторе — по-моему замечательного — «Ожидания», я писал вскоре после его смерти (в журнале «Континент», № 18, 1978).

Здесь, в этом коротком предисловии, я хочу указать на другую сторону, другой пласт его творчества, тот, который по старинке можно назвать «общественным». В Варшавском, и в этом, может быть, одна из особенностей его, не просто уживались, а жили некоей как бы двуединой жизнью — обращенность к внутреннему миру, к душе — в глубоком евангельском звучании этого слова («какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою?» Мф. 16,26) — и столь же страстная и целостная обращенность к миру, к его судьбе и судьбе человека в нем. Из многочисленных эмигрантских партий, течений, группировок, а их было много в десятилетия расцвета первой русской эмиграции, ближе всего, действительно «по душе» ему, была группа, объединившаяся вокруг журнала «Новый град» и стремившаяся к преодолению, хотя бы теоретическому, исторического разрыва между христианским исканием града «неотмирного» («ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». Евр. 13,14) и, христианством же порожденной, жаждой нового земного града, в котором «правда живет». Разрыв этот Варшавский считал главной трагедией человеческой истории и в искании исцеления его был верен основному вопрошанию, основному пророчеству русской религиозной мысли, русского духовного и культурного ренессанса конца XIX и начала XX века.

В это, в России родившееся, в недрах русской культуры взращенное, пророчество Варшавский верил никогда не дрогнувшей верой. Отсюда — его ужас, его возмущение, когда, уже под конец его жизни, столкнулся он с той хулой на Россию, что сначала змеиным шепотом, а затем уже во весь голос стала распространяется по миру. С хулой, которая в самой России, в ее сущности, в ее истории видит источник и ко-

рень того страшного зла, что на деле именно в России, до трагического обрыва ее истории, было обличено, распознано как дьявольский яд, разъедающий отрекшийся от Бога «христианский мир».

И вот, ужаснувшись этой хулы, этой неправды о России, Варшавский встал на защиту России путем раскрытия подлинной родословной большевизма. И сделал он это с тем же мужеством, с которым в июне 1940 г. он, рядовой разгромленной французской армии, почти в одиночку, на протяжении нескольких дней, в обреченной крепости сдерживал мощный натиск немцев.

Болезнь не позволила ему закончить своего труда. Предлагаемая книга — в каком-то смысле черновик и набросок. Но и в ней внимательный читатель расслышит главное. Росслышит, прежде всего, голос совести, который так редко с такой чистотой звучит в нашем измученном ложью и подделками мире.

Прот. Александр Шмеман

Нью-Йорк
март 1982 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

На Западе распространен такой взгляд: «У нас, с нашими вековыми демократическими традициями, коммунизм будет иной, чем в Советском Союзе». Как тут сомневаться, когда даже такая сталинская компартия, как французская, обещает, если придет к власти, не только сохранить эти демократические традиции, но ещё углубить их и расширить, дополнить правами социально-экономическими.

Уверенность эта основана, главным образом, на представлении, что сталинская модель социализма — явление чисто русское, порожденное исконной тоталитарностью русского государства. Прославленный историк Арнольд Тойнби учит: «Московское государство — это русская версия тоталитарного Византийского государства. Политическому зданию России был дважды придан новый фасад: в первый раз Петром Великим, во второй — Лениным. Но сущность структуры осталась неизменной. Так же, как Великое княжество Московское в XIV веке, Советский Союз сегодня воспроизводит основные черты средневековой Восточной Римской Империи».

Этот взгляд разделяется очень многими западными историками. Можно даже сказать, что это господствующая школа, почему-то особенно в Америке. С разными ударениями этот взгляд высказывают, впрочем, не только историки, но и многие идеологи, обыватели, памфлетисты, журналисты, творцы мифов.

Наиболее распространенные вариации: советский империализм — все тот же извечный великорусский империализм, только под другой вывеской; советская бюрократия — все та же царская, только с другой идеологией, но корни советского тоталитаризма не в этой марксистской идеологии, а в истории России, в её традициях: империалистической, мессианской, бюрократической; русские спокон веку привыкли к деспотической власти, к жестокому полицейскому произволу, к жестоким казням. Все это кажется неизбежным и естественным. Западная идея свободы им непонятна, они никогда свободы не знали и в ней не нуждаются; русские — прирожденные рабы...

Как тут не вспомнить Вольтера: «История — труп, которому каждый придает положение, какое хочет». Любителям этим заниматься — совет пожилого человека, видевшего на своем веку две чудовищных войны и две чудовищных революции: если никакая историософия не может обойтись без мифов — старайтесь, по крайней мере, творить добрые мифы, а не мифы, которые увеличивают в мире ненависть. Это относится, прежде всего, к авторам теории, что сталинский коммунизм — порождение не марксистской эсхатологии, а рабской Психеи русского народа. Роман Гуль в своей книге «Одвуконь» пишет: «... нет лучше подарка большевицкой диктатуре, чем русофобская пропаганда о том, что русскому народу «никакая свобода не нужна», что русский народ «обожает душителей», что русский народ — «стадо предателей, палачей и свободоненавистников». На Западе есть любители такой теории, недалеко ушедшей от розенберговской».

Гуль прав — это расизм. Не нужно быть историком, чтобы знать, к чему расизм ведет. «Это было при нас...»

Расистское толкование русской истории не только

безнравственно, оно мешает Западу понять опасность экспансии коммунизма.

При слове расизм возникают знакомые образы: человек с чаплинскими усиками и прядью волос на лбу, бараки, обнесенные проволочными заграждениями, зловещий дым над газовой камерой...

Но ведь расы действительно существуют. Никто этого не отрицает. Только не в том расизм, не в признании существования рас, а в утверждении, что есть расы и народы хорошие и есть расы и народы плохие. Гитлер сделал очень последовательный вывод: хорошая, высшая германская раса имеет право покорять и уничтожать плохие, низшие расы. Но не Гитлер расизм выдумал. Расизм был и до Гитлера. Широко, но не так откровенно, распространен и теперь. Сущность его хорошо определил один из самых разумных людей нашего времени, французский историк и социолог Раймон Арон. Он называет расистскую мысль последним аватаром, как он выражается, эссенциальной мысли. К эссенциальной мысли тяготеют, по его мнению, и все национальные стереотипы.

Арон пишет: «Эссенциальная мысль определяется двумя моментами: она приписывает всем членам данной социальной, этнической или расовой группы черты, которые действительно более или менее часто встречаются у членов этой группы; эссенциальная мысль объясняет затем эти черты природой данной группы, а не ее социальным положением или условиями ее жизни. Когда группа считается хорошей, то характерными для нее признаются только ее положительные черты, когда же она считается плохой, то характерными для нее признаются только ее отрицательные черты».

Если принять такое определение расизма, мы должны будем признаться, что мы все в той или иной степени в расизме повинны.

В самом деле, кто из нас — не подозревая, что это «аватары» эссенциальной мысли, — не произносил таких огульных суждений: «французы такие-то, американцы такие-то, рабочие такие-то, буржуи такие-то...» Это уже плохо. Однако, в обыденной речи без этих стереотипов трудно обойтись. К тому же, когда мы говорим «все» — это вовсе не значит, что мы действительно имеем в виду всех поголовно. Это для упрощения и по лени мы так говорим. И все-таки, если подумать, это плохо. И уж совсем плохо, когда такие обобщения делаются не сгоряча, в случайном разговоре, а с обдуманным намерением, в статьях, книгах, памфлетах, подготовленных речах и докладах. Тогда это уже несомненно расизм.

К сожалению, в эмигрантской публицистике в последнее время начали появляться статьи с привкусом — правда, может быть, не всегда осознанного — расизма и анти-еврейского, и анти-русского. Думаю, что так же, как господин Журден не подозревал, что говорит прозой, авторы изречений «Россией принесено в мир зла больше, чем любой другой страной» или «автократия и любовь к рабству глубоко в крови русской нации» не подозревают, что это такой же расизм, как, например, утверждение Карла Маркса, что единственный настоящий Бог евреев — деньги, или утверждение Гитлера, что Дьявол, символ зла, принимает телесный образ еврея.

Не соглашаясь со многими высказываниями Солженицына о демократии, стабильной экономике, народном покаянии и т. д., я в то же время не понимаю, как можно не принимать великую правду его слов: «Это Бог один может знать, это не нам судить, какая страна принесла больше всех зла». Солженицын прав. Разговор о том, какой народ хороший, а какой плохой и больше всех совершил злодеяний, всегда кончался резней, погромами, реками крови. Охотники до таких

разговоров должны об этом помнить. Расизм растет, как снежный ком. Те, кто называет русский народ стадом палачей, пусть не удивляются, когда слышат в ответ, что в ЧК подвизались не только русские.

Считать весь народ, все равно какой, ответственным за преступления его правителей — глубоко безнравственно, в последнем счете — это всегда призыв к геноциду. Представление о наследственной коллективной ответственности — трагический пережиток примитивного сознания. Наиболее знаменитый пример: кто приговорил Христа к смерти? Синедрион или Пилат? Во всяком случае, Синедрион не имел jus gladii, т. е. права казнить. По приказу Пилата Христа распяли римские солдаты. И мы не знаем, в какой мере Синедрион представлял еврейский народ. Повидимому, в нем главенствовала в то время саддукейская аристократия. Не знаем мы и того, сколько членов Синедриона присутствовали в то страшное утро. Толпа кричала: «распни Его», но не по всем данным это были, главным образом, солдаты храмовой стражи, преданные первосвященникам. Они не представляли, конечно, всех жителей Иерусалима, и тем более всего еврейского народа, большинство которого уже тогда жило в рассеянии, в Месопотамии, в Персии, по берегам Средиземного моря.

Все это не приходит в голову погромщику. Примитивное магическое сознание не делает различия между прошлым и настоящим. Когда погромщик говорит «жиды распяли Иисуса Христа», он разумеет не только всех евреев, которые жили тогда, но и всех теперешних евреев.

Разговоры о том, что русский народ ответственен за все преступления большевистской власти, какими бы ссылками на историю и высказываниями самих русских эти разговоры ни подкреплялись, — такое же проявление примитивного, погромного, геноцидно-

го сознания, как убеждение, что все евреи отвечают за распятие Христа.

Любители огульных отрицательных или положительных суждений о том или другом народе должны помнить: определить характер народа — задача трудная и чрезвычайно ответственная. Вследствие войн, нашествий, переселений, встреч на исторических перекрестках с другими народами и цивилизациями, социальных и культуральных революций, мирных и немирных изменений жизни и действия естественного отбора психологический и даже генетический склад народов с ходом времен изменяется. Меняется и от провинции к провинции, и в зависимости от классового происхождения, от воспитания, от религии — например, во многих европейских странах от принадлежности к католическому или протестантскому вероисповеданию, в России — к православию или к расколу и разным сектам.

Часто даже трудно определить, когда сложился тот или другой народ, его национальная индивидуальность. Рост культуры каждого народа продолжается веками, она впитывает в себя все лучшее, что рождалось в душах сыновей этого народа, в его поэзии, в его творчестве, в его преданиях, верованиях, героических подвигах, в любви, близкой к мистической, к своей стране. И пока народ духовно не умер, творимая им культура продолжает расти и менять его характер, спасать его от вырождения. Так, русские после Пушкина, Толстого и Достоевского стали другими, и русская литература XIX века спасает в советской ночи их души.

Попытки определить индивидуальность какого-нибудь народа — занятие не только трудное, но и в высшей степени опасное. Бердяев прав, когда говорит, что «народная индивидуальность узнаётся лишь любовью». Ну, а что когда попытки определить индиви-

дуальность чужого или своего народа предпринимаются без любви? А ведь так сплошь и рядом бывает. Но даже когда с любовью? Как часто это приводит к национальной гордыне, к шовинизму, к вражде и презрению к другим народам.

Скажут: да, ругать другие народы — это плохо, это расизм, а вот свой народ ругать можно, это даже свидетельствует о какой-то особенно страстной к нему любви. Тут, обычно, ссылаются все на того же Бердяева, на его слова о Печерине: «только русский, который страстно любил Россию, мог написать «Как сладостно отчизну ненавидеть! И жадно ждать ее уничтоженья». Впрочем, еще до Бердяева Белинский писал, что ненависть к своей стране иногда бывает только особенной формой любви. Эта оговорка Белинского иногда бывает очень важна. Но даже когда это действительно особая форма любви? К чему ведет такая страстная любовь-ненависть? В частной жизни, обычно, к убийству, в жизни народов к массовым убийствам. Не будем забывать: Розенберг свою погромную характеристику русского народа обосновал, главным образом, на цитатах из русских авторов. Нет, ругать свой народ — такой же расизм, как ругать другие народы. Вообще, все эти разговоры, что такой-то народ хороший, а такой-то плохой и сделал много зла и должен за это платить — никогда ни к чему хорошему не приводят. История всех народов ознаменована чудовищными преступлениями, выделять один какой-нибудь народ как особенно злодейский, мне кажется, не стоит. К тому же идея коллективной ответственности — идея безнравственная и неприемлемая для современного правосознания.

И все-таки, до войны похвальба ненавистью к отчизне, как особой формой страстной к ней любви, еще могла восприниматься как что-то безобидное. Но теперь, после того как война показала, к чему подоб-

ные разговоры ведут, они вызывают чувство неловкости и смущения. Подражатели Печерина не должны думать, что в том, что они говорят, есть что-то милое и либеральное. Как всякий расизм, такие разговоры в конечном итоге всегда приглашение к массовым убийствам.

Мне возразят: что же, значит нельзя трезво размышлять о путях русского народа, нельзя стараться понять, какие особенности его истории и его характера сделали возможным всё то страшное, что с ним произошло. Нет, об этом размышлять можно и даже нужно, но только с чувством величайшей ответственности, не предъявляя огульных обвинений ни русскому, ни другим народам, не узурпируя пророческого вдохновения и помня, что за каждое твое неосторожное слово рано или поздно каких-то людей будут убивать — убивать безжалостно и без счёта.

Такой же расизм и утверждение, что советский империализм — это по сути всё тот же, только замаскированный марксистской идеологией, империализм русского народа, который, дескать, унаследовал от монголов стремление к мировой империи. Как тут сомневаться, когда сам Маркс говорил о неизменности внешней русской политики, начиная с Ивана Калиты. В результате этой политики, уверял Маркс, Россия, благодаря «энергии и активности её варварской нации», успела к середине XIX века продвинуться по пути к мировой империи.

О том, что подобные суждения — расизм, очень верно говорил покойный М. М. Карпович в статье «Русский империализм или коммунистическая агрессия?»: «Приступая к рассмотрению корней советской экспансии, мы должны, прежде всего, отвергнуть идею, согласно которой народы по природе своей могут быть воинственными или миролюбивыми, импе-

риалистическими. Нет надобности оспаривать этот странный вид расизма».

Статья Карповича разрушает сфабрикованный западными и некоторыми русскими советологами расистский миф о прирождённой склонности русских к империализму. Ограничусь только главными положениями статьи: «С самого создания Московского царства российский государственный опыт не только протекает параллельно с ростом национальных держав на Западе, а и прямо с ним связан. Василии и Иваны, объединявшие русские земли, были современниками Фердинанда и Изабеллы испанских, Людовика XI во Франции, Тюдоров в Англии. По сути дела, все они действовали одинаковыми методами... Когда Европа вступила на путь колониальной экспансии, Англия, Франция, Испания и Португалия переплыли Атлантический и Индийский океаны... Россия пошла на восток...»

Вывод М. М. Карповича: «... дореволюционный русский империализм в основном ничем не отличался от империализма других великих держав. Российская империя была вполне нормальной державой, и политика её была традиционной политикой любой империи. Ни развитие, ни экспансия её не нуждаются в ссылках на какой-то русский мессианизм или же какие-то особые черты русского характера».

Но последователи марксова начертания русской истории не хотят видеть, что империализм царской России, как показывает М. М. Карпович, так сказать, империализм нормальный, классический, не более империалистический, чем империализм других европейских держав. Дальше, чем «Константинополь рано ли, поздно ли, а должен быть наш», этот прежний русский империализм не шёл. И если уж говорить об империализме царской России на языке марксизма-ленинизма, то это был ещё империализм «феодально-

военный», а не современный, основанный на господстве финансового капитала и вывозе и размещении капиталов. Перед Первой мировой войной Россия беспримерно быстро превращалась в промышленную страну, но капиталов не только ещё не вывозила, а наоборот, ввозила огромные капиталы и должна была прибегать к займам. Иностранный капитал господствовал в целых областях русского производства и строительства, особенно в тяжёлой промышленности. Таким образом, Россия не только не могла участвовать в империалистической борьбе за раздел мира между капиталистическими государствами, но русский народ сам был жертвой угнетения иностранным финансовым капиталом и подвергался эксплуатации иностранной буржуазией, которая ввозила в Россию капиталы.

Вообще нет никаких оснований видеть в добольшевистском русском империализме прообраз империализма советского. Нужно быть совсем слепым, чтобы сравнивать его с доктриной Брежнева: страны социалистического содружества, читай Советский Союз, имеют право оккупировать любую «социалистическую» страну, если только им покажется, что эта страна подвергается опасности анти-социалистического перерождения, то есть отхода от сталинской модели. В оправдание военной оккупации Чехословакии «Правда» писала: «Коммунисты братских стран естественно не могли допустить, чтобы во имя абстрактно понимаемого суверенитета социалистические государства оставались в бездействии...» По сравнению с этой доктриной империализм царской России был почти уездным. Во всяком случае, истоки советского империализма нужно искать не в русской истории и не в особом мессианизме русского народа, а в марксистском эсхатологическом мифе мировой революции.

Скажут: революционный энтузиазм в Советском

Союзе давно угас. В марксизм больше не верят даже члены ЦК партии. Первоначальная вера сменилась цинизмом. Всё так, но это не меняет дела. Вспомним, религия французской революции достигла наибольшего распространения не при якобинской диктатуре, а при Наполеоне, а он вряд ли верил в идеалы свободы, равенства и братства, даже когда числился якобинцем. И французские солдаты, которые на картине Гойи «Третьего мая» расстреливают испанских повстанцев, вероятно, в эти идеи больше не верят. Но их привело в Испанию движение народов, вызванное землетрясением французской революции.

Не исчерпана ещё и энергия экспансии коммунистической революции. В т. н. социалистических странах марксова вера умерла, но за их пределами она живет ещё в миллионах человеческих сердец. Выводы, к которым Маркс пришел на основании изучения английского капитализма XIX века, не приложимы к условиям, созданным научно-технической революцией, марксистская антропология убога и трагически ошибочна, марксистская практика чудовищна, и все-таки марксизм сегодня единственное политическое учение, которое, хотя и обманно, отвечает изначально заложенному в иудео-христианской цивилизации ожиданию прихода всечеловеческого царства свободы и справедливости. Марксизм — это псевдонаучная, материалистическая, безбожная метаморфоза Тысячелетнего царства.

Есть ещё и косвенные опровержения взгляда: «У нас будет по-другому».

ГЛАВА ПЕРВАЯ

«КОММУНИЗМ У НАС БУДЕТ ДРУГОЙ»

На Западе все больше распространяется мнение, что тоталитарный советский строй порожден вовсе не марксизмом, а русской историей. Мнение это стало общим местом, вошло в поговорку. Только ленивый его не повторяет. Большевики, дескать, не столько социализировали Россию, сколько русифицировали социализм. Сталин просто-напросто восстановил исконные тоталитарные устои русского государства, созданные византийским цезарепапизмом, татарским игом, московскими царями и бюрократическим абсолютизмом Империи, описанным бессмертным маркизом де Кюстином, отдыхавшим на Руси под сенью развесистой клюквы. И вот еще: феодализма в России не было! Короче говоря: белого царя сменил красный, но все осталось по-старому. Это все знают, не стоит и проверять. А марксизм тут ни при чем и никакой ответственности за архипелаг ГУЛаг не несет. Поэтому бояться прихода к власти «наших» коммунистов не нужно. Никакие они не сталинцы. Редактор «Юманите» Рене Анрие пишет: «Французская коммунистическая партия со всей необходимой решительностью осудила эксцессы сталинского времени в Советском Союзе. В наши дни она одна обличает все покушения на свободу, где бы в мире они ни происходили».

Однако послушаем, что рассказывает в своей последней книге «В общем...» бывший коммунист Клод Руа. Когда в 1957 году его исключали из французской

компартии, Жорж Марше ему кричал: «Миллионы арестованных в Советском Союзе, десятки тысяч в Венгрии! А я говорю тебе: еще недостаточно арестовывали, еще недостаточно сажали в тюрьму!»

И вот с этим самым Жоржем Марше, еще недавно «любимым сыном Москвы», французские социалисты собираются «восстановить свободу во всем ее сиянии». Для оправдания этого противоестественного союза и потребовалась теория, что сталинщина исключительно русская болезнь. Запад никогда не заразится. Климат другой.

За Сталиным пришлось отступиться и от Ленина. После выхода первого тома «Архипелага ГУЛаг» Солженицына, недавно переизданной книги Романа Гуля «Дзержинский» и некоторых других исследований стало больше невозможно сомневаться: сталинская модель социализма в главном сложилась уже при Ленине. Некоторые французские левые, Морис Клавель, Андре Глюксман, Бернар-Анри Леви и их друзья, сделали тогда единственно правильный вывод: зачаток Архипелага ГУЛаг в марксизме, а не в русской истории. Но большинство левых не хочет этого допустить. Марксизм во что бы то ни стало нужно выгородить, даже ценой отказа от Ленина. Нелегко было. Ведь еще совсем недавно утверждалось, что Владимир Ильич завершил незаконченную мысль Маркса и вытащил марксизм из болота разных правых, центристских и левацких тенденций, на которые разложилась социал-демократия во время II Интернационала. А теперь вдруг с Лениным расставаться! Первый шаг — Ленин, конечно, марксист, тут спора нет, но ему помешали особые исторические обстоятельства: отсталость России, пережитки царизма, привычка и даже любовь русских к рабству, гражданская война, разруха, капиталистическое окружение и т. д. Шаг второй — (на него, впрочем, многие левые еще не решаются) учи-

тель Ленина на самом деле не Маркс, а Ткачёв. Этой уверткой, придуманной во время оно меньшевиками, теперь все шире пользуются. Еще до Тибора Самуели в это верили многие американские социологи, да и русские; увы — и Бердяев.

Книга Самуели «Русская традиция» во многих отношениях действительно замечательна. В ней с глубоким знанием и добросовестностью рассказана повесть русской революционной интеллигенции. Но этот подробный и нелицеприятный рассказ никак не подтверждает главного тезиса Самуели, а именно, что большевизм будто бы вышел не из марксизма, а из особой варварской русской революционной традиции, немыслимой на Западе.

Решить вопрос, у кого главным образом учился Ленин, не трудно. В многотомных его сочинениях имена Маркса и Энгельса мельтешат чуть не на каждой странице. И не только имена, но и бесчисленные огромные выдержки. При чтении постепенно перестаешь различать, где Маркс, где Энгельс, где Ленин. Образы трех угодников сливаются. Тот же ход мысли, тот же строй чувств, тот же стиль, то педантически наукообразный, то площадной, та же бешеная ярость в полемике, то же неколебимое убеждение, что прогресс не может совершаться без насилия и кровавых человеческих жертв и что, как бы ужасны ни были эти жертвы, на них нужно идти.

Никаких слезинок ребёнка.

И чем больше погружаешься в чтение, тем неотвязнее чувство: Ленин не просто ученик и продолжатель Маркса, а новое его воплощение, это сам Маркс снова пришёл на землю, кончить все, что не доделал в своей первой жизни.

А Ткачёв? Да, Ленин его называет, если не ошибаюсь, раз пять, не больше. Правда, тут обычно ссылаются на рассказы Бонч-Бруевича о том, как Ленин

после Октябрьской революции уговаривал своих сообщников изучать Ткачёва.

Что же, верно, так и было. Ткачёв должен был Ленину нравиться. В знаменитой своей брошюре «Что делать?» он отзывается о Ткачёве с большим уважением: «Подготовленная проповедью Ткачёва и осуществленная посредством «устрашающего» и действительно устрашавшего террора попытка захватить власть — была величественна».

Но когда в той же брошюре Ленин рисует родословное дерево социализма, он называет вовсе не Ткачёва, а Маркса, Энгельса и их учителей: «Как немецкий теоретический социализм никогда не забудет, что он стоит на плечах Сен-Симона, Фурье и Оуэна — трех мыслителей, которые, несмотря на всю фантастичность и весь утопизм их учений, принадлежит к величайшим умам всех времен и которые гениально предвосхитили бесчисленное множество таких истин, которые мы доказываем теперь научно, — так немецкое рабочее движение не должно забывать, что оно развилось на плечах английского и французского движения ...».

На тех же самых, а не на каких других плечах стоял и развивался Ткачёв. Его учителя: Макиавелли, якобинцы, Бабёф, Огюст Бланки, утопические социалисты, которых он переводил на русский язык. Всё те же авторы, властители дум Сенкаля и других революционных героев романа Флобера «Воспитание чувств». И вдобавок к ним еще Маркс. Покровский не без основания назвал Ткачёва первым русским марксистом.

Почему же тогда видеть в нем представителя какой-то особой, немыслимой на Западе, русской революционной традиции. Никакой такой традиции не было. Все русское революционное движение, начиная с декабристов, взошло на закваске западных идей.

Вспомним Пушкина: «Ясно, что походам 1813 и 1814 гг., пребыванию наших войск во Франции и в Германии должно приписать сие влияние на дух и нравы того поколения, коего несчастные представители погибли на наших глазах...»

Рассказывая о своих встречах с Ткачёвым в редакции журнала «Дело», П. П. Суворов описывает его так: «Небольшого роста, тоненький, молоденький, стыдливый, вкрадчивый, скрытный, с улыбающимся личиком, Петр Никитич походил на институтку, в первый раз попавшую в общество» *).

Этот похожий на институтку юноша мечтал о строе, при котором будут господствовать «мир, любовь, согласие и братство, при совершенной солидарности всех людей».

Как ускорить приход такого строя? Об этом мы узнаем от сестры Ткачёва А. Анненской: «Он со всем пылом молодости ненавидел господствующий в России режим и находил, что для обновления страны необходимо ни мало, ни много, как уничтожить всех людей старше 25-ти лет».

Однако, значит ли это, что только русская жизнь могла породить такого политического Франкенштейна, как Ткачёв? Мечтателей, готовых для счастья человечества без счета губить человеческие жизни, было немало и на Западе. Не говоря уже о знаменитом Марате, который требовал 273 тысячи голов, Робеспьере, Сен-Жюсте, Кутоне. Но вот примеры не столь известные: при усмирении Вандеи якобинец Лекинио предлагает истребить всё вообще население отвоеванных областей и заменить его новосёлами-«патриотами». Другой уполномоченный Комитета общественного спасения, Лакост, добрее: он считал, что в департаменте Нижнего Рейна достаточно гильотинировать всего чет-

*) Л. Козьмин. «П. Н. Ткачёв и революционное движение 1860 годов», Москва, «Новый мир», 1922.

верть жителей, остальных выгнать, оставить только «патриотов».

Вот что рассказывает Герцен о встреченном им в Женеве «умеренном» немецком революционере Гейнце: «Он впоследствии писал, что достаточно избить два миллиона человек на земном шаре, и дело революции пойдет как по маслу». Конечно, по теперешним стандартам два миллиона не так уж много, а всё же...

Сам Ткачёв совершенно справедливо называл себя бланкистом. В Париже он сотрудничал в газете Огюста Бланки «Ни Бог, ни хозяин», (Ni Dieu, ni maître), на похоронах учителя заявил перед огромной толпой: «Он был нашим вдохновителем и нашим вождём в великом искусстве заговора».

И также справедливо Ткачёв называл себя якобинцем. Подобно другим русским якобинцам и бланкистам, он считал, что только «Акулина», дисциплинированная тайная организация заговорщиков, способна совершить переворот и захватить власть. Но Ткачёв был не только бланкистом и якобинцем. Он первый из русских политических мыслителей изучил и принял марксизм и первый стал прибегать к марксистскому анализу. Только в отличие от классических марксистов он допускал возможность для России миновать период капиталистического развития и непосредственно, одним скачком, перейти к социализму. Обычно Ткачёва причисляют к народникам, но он не идеализировал, как они, общину и артель и не верил, что тёмная, невежественная и консервативная крестьянская масса способна сама разобраться в причинах своего бедственного положения и найти средства его улучшить. Нет, сделает революцию и построит социализм образованное, сознательное, сплочённое небольшое революционное меньшинство.

По просьбе друзей Лаврова Энгельс выступил с высокомерной отповедью Ткачёву. Но Ткачёв в «От-

крытом письме господину Фридриху Энгельсу» настаивает: «В России, именно благодаря её промышленной отсталости и отсутствию буржуазии, условия для социальной революции благоприятнее, чем в Германии». Об этом письме Маркс сказал: «Это так глупо, что могло быть написано Бакуниным».

Заявляя, что русское государство висит в воздухе, Ткачёв требовал немедленного переворота, предваряющего овладение властью буржуазией.

«Это сам Ткачёв висит в воздухе», — смеялся Энгельс. И он, и Маркс защищали в то время классическую марксистскую точку зрения. «Буржуазия, — писал Энгельс, — так же необходима для социальной революции, как сам пролетариат. Следовательно, заявлять, что такая революция легче осуществима в стране, где нет ни пролетариата, ни буржуазии, это значит обнаружить незнание азбуки социализма».

Бердяев сделал отсюда вывод: «Маркс и Энгельс говорили о буржуазном характере революции в России и были скорее «меньшевиками», чем «большевиками».

Так ли это? Можно ли с этим согласиться?

В 1877 году, забыв о своих насмешках над Ткачёвым, отцы «научного социализма» круто меняют свой взгляд на возможность революции в России. Не называя Ткачёва, они по существу принимают теперь все его положения: мировая революция начнётся в России, её сделает небольшая организация заговорщиков. Благодаря общине, Россия может миновать капиталистическую фазу развития и прийти к социализму прежде всех.

В феврале 1881 года Вера Засулич по поручению чернопередельцев пишет Марксу с просьбой научить, как нужно думать о русской общине.

Маркс ответил нескоро. Оказывается, говоря об исторической неизбежности капитализма, он всегда

имел в виду только страны Западной Европы. Изучение убедило его — община может стать опорой социального возрождения России, при условии, что будет устранено всё, что мешает её свободному развитию.

Ответ этот дался Марксу нелегко. Найдено четыре написанных им по-французски черновика.

В первом, самом длинном, самом ткачёвском, он утверждает: сохранение общины даёт России превосходство над странами, еще порабощенными капитализмом. Но, чтобы спасти русскую общину от распада, нужна русская революция, вовремя сделанная. Русская интеллигенция должна тогда сосредоточить все силы, чтобы обеспечить общине свободное развитие.

Во втором черновике Маркс всё же колеблется. С исторической точки зрения есть только один серьезный довод в пользу тезиса неизбежности разложения русской общины: общинная собственность существовала повсюду в Западной Европе и повсюду исчезла с ходом социального прогресса.

Почему же в России у нее будет другая судьба?

Но в третьем черновике Маркс снова говорит, что община может стать отправным пунктом экономической системы, к какой тяготеет современное общество. Четвёртый, самый короткий, черновик точно совпадает с текстом письма, посланного Вере Засулич 8 марта 1881 года.

В 1882 году, в предисловии ко второму русскому изданию «Манифеста Коммунистической партии», Маркс и Энгельс пишут: «Если русская революция послужит сигналом пролетарской революции на Западе, так что обе они дополнят друг друга, то современная русская общинная собственность может явиться исходным пунктом коммунистического развития».

Только на исходе века, когда бурный рост молодого русского капитализма стал очевиден, Энгельс возвращается к классическому марксистскому поло-

жению, на котором настаивал Плеханов: капиталистический период развития неизбежен.

Но ведь всё-таки, возразят мне, Маркс и Энгельс всегда были против индивидуального террора как революционной тактики.

Ещё один разоблачённый миф. Однако, охотники всё сваливать огулом на какую-то особую русскую революционную традицию, будто бы ничего общего с марксизмом не имеющую, упорно продолжают обманывать этой сказкой себя и других.

На самом деле Маркс и Энгельс безоговорочно одобряли революционный террор. Они видели в нем эффективное средство для разжигания революции, своего рода фитиль, который вызовет общий взрыв.

Когда землевольцы раскололись на чернопередельцев и народовольцев, Маркс принял сторону террористов, а не чернопередельцев, хотя те как раз начали в то время оборачиваться классическими марксистами. Л. Гартман, пивший с Марксом на брудершафт, в письме от 27-го мая 1880 года передаёт Н. Морозову суждение Маркса о русских революционных организациях — «Народной Воле» и «Чёрном Переделе : «Выбирая из двух, он решительно становится на сторону и за программу террористов».

Маркс пишет Ф.-А. Зорге 5-го ноября 1880 года: «В России... наш успех ещё значительнее. Мы там имеем... центральный комитет террористов...».

После суда над убийцами Александра II, Маркс в письме к дочери, Женни Лонге, от 11-го апреля 1881 года хвалит «манифесты» Исполнительного комитета Народной Воли: «Он очень далек от мальчишеской манеры Моста *) и других ребячливых крикунов, проповедующих цареубийство как "теорию" и "панацею"...

---

*) Иоганн Мост (1846-1906) — немецкий социал-демократ, который уклонился в анархию.

они, наоборот, стараются убедить Европу, что их modus operandi является специфически русским, исторически неизбежным способом действия...»

Так думал и Энгельс: «И я, и Маркс находим, — говорил он в 1883 году Герману Лопатину, — что письмо Комитета к Александру III положительно прекрасно по своей политичности и спокойному тону. Оно доказывает, что в рядах революционеров находятся люди с государственной складкой ума».

Как известно, в этом «прекрасном по своей политичности» письме от 10 марта 1881 года Исполком Народной Воли угрожал, в случае, если Александр III не примет всех требований террористов, продолжать «отчаянную партизанскую войну с правительством».

Энгельс на стороне террористов и в споре Плеханова с одним из учредителей Исполнительного Комитета Народной Воли, Львом Тихомировым. А между тем, Плеханов, указывая на сходство взглядов Тихомирова и других народовольцев-«якобинцев» с ткачёвскими, повторял в этом споре все те доводы, какие за десять лет до этого сам Энгельс приводил для посрамления «недоучившегося гимназиста».

В 1885 году Энгельс пишет Вере Засулич: «Россия приближается к своему 1789 году... Если когда-либо бланкистская мечта перевернуть общество путем небольшого заговора имела малейший шанс на успех, то это несомненно теперь, в Санкт-Петербурге... Когда 1789 год происходит в такой стране, то не далек и 1793 год».

Предсказание Энгельса сбылось. Только стараниями верного его ученика Ленина русский 1793 год наступил куда скорее, чем французский, всего через восемь месяцев после русского 1789 года.

Энгельс в том же письме Вере Засулич: «На мой взгляд Россия больше всего нуждается теперь толчок, чтобы революция разразилась. Подаст ли сигнал та

или иная фракция, произойдет ли это под тем или иным флагом, это не столь важно».

Ленин совершенно правильно утверждал, что Маркс ставит в образец германской демократии якобинскую Францию 1793 года. Отпрыск рейнской якобинской буржуазии, мечтавший о присоединении Рейнландии к революционной Франции, Маркс верил только в такую революцию, как якобинская: насильственную, диктаторскую, террористическую, кровавую. 5-го ноября 1848 г. он писал в «Новой Рейнской Газете»: «Есть только один путь сократить убийственную смертную агонию старого общества, один путь сократить родовые муки нового общества, только одно средство — революционной теорией».

Поэтому-то Маркс говорил о первомартовских убийцах как о «действительно дельных людях, без мелодраматической позы, простых, деловых, героических». «Насилие — повивальная бабка всякого старого общества, когда оно беременно новым».

И Маркс и Энгельс страстно ждали прихода новой революции, вроде якобинской, им казалось — она уже близко, при дверях. В книге «Положение рабочего класса в Англии», написанной им в 1844-45 годах, Энгельс говорит: «Единственно возможным выходом остается насильственная революция, и она, несомненно, не заставит себя долго ждать... Война бедных против богатых будет самой кровавой из всех войн, которые когда-либо велись между людьми».

Главную задачу коммунистической партии, когда произойдёт такая революция, Энгельс видел в том, чтобы предотвратить повторение Девятого термидора.

Ленин навсегда затвердил это поучение: единственный выход — насильственная революция, она будет самой кровавой из всех войн, но это не должно останавливать революционера.

Всему этому Ленин научился не у Нечаева, не у

Ткачёва, а у Маркса и Энгельса и их учителей — якобинцев. В мае 1905 года, на III партсъезде, Ильич заявляет: «Пугать якобинством в момент революции — величайшая пошлость. Демократическая диктатура, как я уже указывал, есть не организация "порядка", а организация войны. Если бы даже мы завладели Петербургом и гильотинировали Николая, то имели бы перед собой несколько Вандей. И Маркс прекрасно понимал это, когда в 1848 году в "Новой Рейнской Газете" напоминал о якобинцах. Он говорил: «Террор 1793 г. есть не что иное, как плебейский способ разделываться с абсолютизмом и контрреволюцией». Мы тоже предпочитаем разделываться с русским самодержавием плебейским способом и предоставляем "Искре" способы жирондистские».

Слова Маркса о терроре 1793 года как о плебейском способе разделаться с контрреволюцией пришлись Ленину по сердцу. Он упоминает о них снова в статье «Две тактики социал-демократии в демократической революции»: «Думали ли когда-нибудь о значении этих слов Маркса те люди, которые пугают социал-демократических русских рабочих пугалом «якобинизма» в эпоху демократической революции? ... Якобинцы современной социал-демократии — большевики ... хотят, чтобы народ, т. е. пролетариат и крестьянство, разделался с монархией и аристократией «по-плебейски», беспощадно уничтожая врагов свободы, подавляя силой их сопротивление...» «Всякое временное государственное устройство, — писала "Новая Рейнская Газета" 14-го сентября 1848 года, — после революции требует диктатуры, и притом энергичной диктатуры...»

Указания, как «двигать революцию вперед», Ленин нашел и во многих других трудах Маркса и Энгельса, особенно в знаменитом «Обращении Центрального Комитета к Союзу коммунистов», опубликованном

в марте 1850 года. В этом обращении Маркс и Энгельс поучали: «Рабочие, и прежде всего Союз, должны добиваться того, чтобы с официальными демократами создать самостоятельную и тайную и открытую организацию рабочей партии... Они не только не должны выступать против так называемых эксцессов, против случаев народной мести по отношению к ненавистным лицам или общественным зданиям, с которыми связаны только ненавистные воспоминания, а наоборот, должны не только терпеть эти выступления, но и взять на себя руководство ими».

Ленин все это в точности выполнил: создал партию и тайную и открытую, и не только взял на себя руководство народной местью, но вместе с Троцким принялся эту народную месть фабриковать. Первым был расстрелян в 1918 году капитан Щастный, хотя матросы его любили и протестовали против его ареста.

Выполнил Ленин и другое задание марксова обращения к Союзу коммунистов: «... с первого же момента победы необходимо направлять недоверие уже не против побеждённой реакционной партии, а против своих прежних союзников... против той партии, которая хочет использовать общую победу исключительно для себя. Но для того чтобы энергично и грозно выступить против этой партии, которая начнет предавать их с первого же часа победы, рабочие должны быть вооружены и организованы. Вооружение всего пролетариата ружьями, карабинами, орудиями и боевыми припасами должно быть проведено немедленно».

Так Ленин и поступил, захватив власть. «Энергично и грозно» расправился не только с буржуазными, но и со всеми социалистическими партиями, хотя те вовсе не добивались власти исключительно для себя. В июле 1918 года при помощи латышских стрелков были разгромлены последние социалисты, входившие в правительство, — левые эсеры.

Сразу же началось и вооружение пролетариата.

Когда октябрьский нам готовил временщик
Ярмо насилия и злобы,
И ощетинился убийца-броневик
И пулеметчик низколобый.

Как мы видим, обращение Маркса к Союзу коммунистов послужило Ленину «программой действия». Но вот, говорят, сам Маркс будто бы от этой программы впоследствии отошёл. На V съезде I Интернационала он даже признал, что в таких промышленно развитых демократических странах, как Англия, Соединенные Штаты, а может быть и Голландия, рабочие могут достигнуть своих социалистических целей мирными средствами. А Энгельс прибавил к списку таких передовых стран еще и Францию. Тут для доказательства, что Маркс и Энгельс отказались с годами от своего прежнего юношеского увлечения якобинством, приводится ссылка на письмо Энгельса Марксу, написанное 4-го сентября 70-го года: «Террор представляет собою большей частью бесцельную жестокость людей, которые сами напуганы и стараются успокоить себя. Я убежден, что в царстве террора (во Франции) в 1793 году были почти целиком повинны сверхнервные буржуа, выступившие как патриоты, мещане из мелкой буржуазии, пачкавшие свои штаны от страха, и сброд, делавший из террора выгодное дело».

Потому, верно, Бердяев и решил, что Маркс и Энгельс были скорее меньшевиками, чем большевиками. Нынче этот домысел снова пущен в оборот, с целью убедить Запад не бояться прихода к власти «наших коммунистов». Никакими меньшевиками Маркс и Энгельс, конечно, не были, и тем более не были в последние годы жизни хорошими, либеральными, гуманными старичками, какими их старается представить марк-

систская «Золотая библиотека». Нет, они всегда оставались такими же, как Ткачёв и Ленин, утробными якобинцами и всем теориям предпочитали революцию, кем бы, в какой стране и какими средствами она ни делалась. «Каждый шаг действительного движения важнее дюжины программ».

«Для меня, революционера, пригодно всякое средство, ведущее к цели, как самое насильственное, так и то, которое кажется самым мирным». Это не из Ткачёва, не из нечаевского "Катехизиса Революции", это Энгельс пишет Г. Триру 18 декабря 1889 года, т. е. когда Энгельсу было уже 69 лет и назвать его юношей уже никак нельзя было.

И Маркс, и Энгельс не только в молодости почитали кровожадного Марата первым теоретиком революции. Энгельс признается: «Во многих отношениях мы подсознательно подражаем великому примеру Друга Народа... Марат беспощадно сорвал маску с кумиров дня (Лафайетта, Байи и др.). Во-первых, разоблачая тех, кто собирался предать революцию; во-вторых, он так же, как и мы, не считал революции завершенной, наоборот, хотел, чтобы ее объявили непрерывной».

Размышления о насильственной революции и необходимости для ее победы располагать вооруженными силами занимали Маркса и Энгельса всю жизнь. Они оба много писали по военным вопросам, особенно Энгельс. В кругу своих его даже прозвали в шутку «генералом». В шутку, а все-таки надеялись — придёт день и его позовут командовать революционной армией. «Стратегические» соображения Маркса и Энгельса известны. Они разделяли распространенную тогда среди немцев идею, что начиная со Средних веков Германия ограждает цивилизацию от натиска варварства. Они радовались поэтому усилиям Бисмарка объединить Германию. Не то чтобы Бисмарк им нравился, отнюдь нет. Но они верили, что объединяя не-

мецкий народ, зажатый между «калмыками» (русскими) и «жабами» (французами), он делает «нашу работу». Ведь Германия более всех других стран созрела для социалистического движения, и создание централизованной Германской Империи будет полезно для немецкого рабочего класса, самого из всех передового. Тут Марксу и Энгельсу приходили мысли, которые, хотя и выраженные на языке других понятий, во многом предвосхищали « Mein Kampf » Гитлера. Ни Маркс, ни Энгельс не были расистами, Боже упаси. Так, в отличие от Гитлера, они презирали не только «цыган, хорватов, чехов и прочую сволочь», у которых никогда не было собственной истории, но и скандинавские народы самой чистой германской расы. «Скандинавизм — это восхищение старыми северными народами, грубыми, грязными, грабительскими».

Нет, расистами Маркс и Энгельс не были, но они пришли к убеждению, что великие народы, носители исторического развития и прогресса, имеют право теснить второстепенные, неисторические, «бандитские» народы. В частности, передовой немецкий народ, если потребуется, имеет право вести «войну на уничтожение» против чехов, изменников революции и опоры реакционного антигерманизма.

Теперь такую войну называют геноцид.

Но вернёмся к идеям Маркса и Энгельса о вооруженной насильственной революции в тесном смысле.

В книге «Анти-Дюринг» Энгельс высмеивает ужас Дюринга перед насилием: «Для господина Дюринга насилие есть нечто абсолютно злое... Что насилие играет также в истории другую роль, именно революционную роль, что оно, по словам Маркса, является повивальной бабкой всякого старого общества, когда оно беременно новым, что насилие является тем орудием, посредством которого общественное движение пролагает себе дорогу и ломает окаменевшие, омертвевшие по-

литические формы — обо всем этом ни слова у господина Дюринга».

В том же «Анти-Дюринге» Энгельс говорит: «Партия может оказаться вынужденной принимать революционные меры против буржуазного государства, которое придёт на смену нынешнему государству. Поэтому всеобщая воинская повинность, существующая в настоящее время, должна быть использована всеми для того, чтобы научиться борьбе».

«Генерал» Энгельс прилагает даже небольшое историческое исследование «Тактика пехоты и ее материальные основы».

В 1890 году, в статье «Внешняя политика русского царизма», семидесятилетний Энгельс, будто бы только в молодости увлекавшийся примером якобинцев, пишет, что, став на сторону царя, Франция в случае поражения была бы «лишена возможности прибегнуть к своему великому, единственно действенному средству спасения, к целебному средству 1793 года — революции, мобилизации всех сил народа посредством террора и революционной пропаганды во вражеской стране».

То же в письме к Зорге 24 октября 1891 г.: «Германия сумеет держаться лишь революционными мерами, почему мы, легко возможно, и будем вынуждены встать у кормила власти и разыграть 1793 год».

Ленин все эти указания хорошо запомнил. Перечитайте «Государство и революцию». Он объясняет там, как делается революция. И что же? Все ссылки на Маркса и Энгельса, ни одной на Ткачёва. В частности, Ленин приводит большую выдержку из статьи Энгельса «Об авторитете»: «Революция есть, несомненно, самая авторитетная вещь, какая только возможна. Революция есть акт, в котором часть населения навязывает свою волю другой части посредством ружей, штыков, пушек, т. е. средств чрезвычайно авторитарных. И победившая партия по необходимости

бывает вынуждена удерживать свое господство посредством того страха, который внушает реакционерам ее оружие. Если бы Парижская Коммуна не опиралась на авторитет вооруженного народа против буржуазии, то разве бы она продержалась дольше одного дня? Не вправе ли мы порицать Коммуну за то, что она слишком мало пользовалась этим авторитетом?»

Во втором издании той же брошюры Ленин прибавляет главу «Постановка вопроса Марксом в 1852 году». В этом прибавлении он приводит слова из письма к Иосифу Вейдемейеру от 5 марта 1852 года: «Что касается меня, то мне не принадлежит ни та заслуга, что я открыл существование классов в современном обществе, ни та, что я открыл их борьбу между собой. Буржуазные историки задолго до меня изложили историческое развитие этой борьбы классов... То, что я сделал нового, состояло в доказательстве следующего: 1) что существование классов связано лишь с определенными историческими фазами производства; 2) что классовая борьба необходимо ведет к диктатуре пролетариата; 3) что эта диктатура сама составляет лишь переход к уничтожению всяких классов и к обществу без классов...»

В этом «замечательном рассуждении» Маркса Ленин увидел суть марксова учения о государстве. К поразившей его идее диктатуры пролетариата он возвращается неоднократно. В декабре 1917 года он писал: «Мы [марксисты] всегда знали, говорили, повторяли, что социализм нельзя "ввести", что он вырастает в ходе самой напряженной, самой острой, до бешенства, до отчаяния острой, классовой борьбы и гражданской войны, что между капитализмом и социализмом лежит долгий период "родовых мук", что насилие всегда бывает повивальной бабкой старого общества, что переходному периоду от буржуазного к социалистическому обществу соответствует особое го-

сударство (т. е. особая система организованного насилия над известным классом), именно: диктатура пролетариата. А диктатура предполагает и означает состояние придавленной войны, состояние военных мер борьбы против противников пролетарской власти».

В ноябре 1918 года, полемизируя с «ренегатом» Каутским, Ленин приводит слова Маркса из «Критики Готской программы»: «Между капиталистическим и коммунистическим обществом лежит период революционного превращения первого во второе. Этому периоду соответствует и политический переходный период, и государство этого периода не может быть ничем иным, кроме как революционной диктатурой пролетариата». И Ленин утверждает, что вспомни Каутский все случаи, когда Маркс говорил о диктатуре, «он получил бы, наверное, либо следующее, либо по существу совпадающее с ним определение: «Диктатура есть власть, опирающаяся непосредственно на насилие, не связанная никакими законами. Революционная диктатура пролетариата есть власть, завоёванная и поддерживаемая насилием пролетариата над буржуазией, власть, не связанная никакими законами».

Что такое «диктатура пролетариата», Ленин объясняет и в речи, произнесенной им 19-го мая 1919 года на «Первом всероссийском съезде по внешкольному образованию»:

«Диктатура — слово жёсткое, тяжёлое, кровавое, мучительное, и этаких слов на ветер не бросают. Если с этими лозунгами выступили социалисты, то это потому, что они знают, что иначе, как в отчаянной беспощадной борьбе, класс эксплуататоров не сдается»:

Затвердив идеи Энгельса об «авторитарности» революции, и что придётся «разыграть 1793 год», и идеи Маркса о диктатуре пролетариата, и что единственный путь сократить родовые муки нового общества — революционный террор, Ленин, захватив власть, сейчас

же и начал принимать «военные» меры подавления сопротивления и проповедовать беспощадный террор. 7-10 января 1918 года Ленин пишет воистину кровожадную статью «Как организовать соревнование». «Только добровольное и добросовестное, с революционным энтузиазмом производимое сотрудничество массы рабочих и крестьян в учете и контроле за богатыми, за жуликами, за тунеядцами, за хулиганами может победить эти пережитки проклятого капиталистического общества, эти отбросы человечества, эти безнадежно гнилые и омертвевшие члены, эту заразу, чуму, язву, оставленную социализму по наследству от капитализма... Никакой пощады этим врагам народа, врагам социализма, врагам трудящихся. Война не на жизнь, а на смерть богатым и их прихлебателям, буржуазным интеллигентам, война жуликам, тунеядцам и хулиганам».

Ленин говорит затем, что нужно стремиться к достижению «общей единой цели: очистки земли российской от всяких вредных насекомых, от блох — жуликов, от клопов — богатых и прочее и прочее».

Среди разных способов достигнуть этой цели, Ленин предлагает и такой: расстреливать на месте одного из десяти, виновных в тунеядстве. Начиная террор, Ленин не сомневался, что Маркс и Энгельс так же бы одобрили его *modus operandi,* как они одобряли народовольцев-бомбометателей. Они не стали бы ныть, как «мерзавцы из лакеев буржуазии, саботажники, называющие себя интеллигентами», или как «дурачки», вроде меньшевика Мартова.

А «дурачок» Мартов всё не унимался. Издал в Москве в 1918 году брошюру «Долой смертную казнь». Протестуя против расстрела капитана Щастного, он так пишет о большевиках: «Как только стали они у власти, с первого же дня, объявив об отмене смертной казни, они начали убивать. Убивать пленников, за-

хваченных после боя в гражданской борьбе, — как это делают все дикари. Так было в Москве в октябрьские дни, когда большевик Смидович подписал обещание даровать жизнь сдающимся юнкерам, а потом допустил, что сдавшиеся были перебиты по одиночке... Так было в Киеве, в Ростове, во многих других городах при взятии их большевистскими войсками. Так было в Севастополе, Симферополе, Ялте, Евпатории, Феодосии, где шайки негодяев истребляли по спискам мнимых контрреволюционеров без всякого следствия и суда, убивая и женщин и малолетних. Вслед за этими самосудами и расправами, организованными по подстрекательству или попустительству большевиков, начались убийства по прямому приказу органов большевистской власти. Смертная казнь объявлялась отмененной, но в каждом городе, в каждом уезде разные «чрезвычайные комиссии» и «военно-революционные комитеты» приказывали расстреливать сотни и сотни людей».

И Мартов предрекает: «Зверь лизнул горячей человеческой крови. Машина человекоубийства пущена в ход... Первый пример подан, и теперь Верховный Революционный Трибунал будет отправлять на тот свет всех, кого большевистская партия пожелает лишить жизни — будет превращать столько людей в трупы, сколько могут успеть умеренные аккуратные чиновники в течение своего восьмичасового рабочего дня».

К несчастью, все это сбылось, заплечных дел чиновники работают не покладая рук уже 60 лет.

Скажут: вот смотрите, Мартов ведь тоже был марксистом, а как осудил террор!

Не знаю, сделал ли он это как «ортодоксальный» марксист или просто потому, что был человек благородный, светлый и наивной души. Нескончаемый спор, кто правильнее прочел Маркса и Энгельса —

меньшевики или большевики! В многопудьи писаний, полных противоречий, каждый может найти, что ему по сердцу. Зачарованные верой в научность марксизма, меньшевики не замечали или не хотели замечать его якобинскую природу. Во всяком случае, сами Маркс и Энгельс «меньшевиками» не были. Поэтому-то они так ненавидели и презирали Лассаля, который отрицал путь революционной диктатуры и «дикой санкюлотской ярости». Маркс и Энгельс его иначе между собой не называли, как «еврейчик», «итциг», (по-немецки грубое название еврея), «жидочек», «еврейский ниггер» (по-английски — презрительное название негра).

Усердный ученик Маркса и Энгельса, Ленин, так же, как они, видел в диктатуре якобинцев образец диктатуры тогдашнего передового класса, тогдашнего пролетариата.

В 1906 году, в «Докладе об объединительном съезде РСДРП», он говорит: «Конвент был именно диктатурой низов, т. е. самых низших слоев городской и сельской бедноты... т. е. именно то, что мы называем пролетариат и крестьянство».

В 1908 году великий Ильич с восхищением пишет о «настоящем, всенародном, действительно обновляющем страну терроре, которым прославила себя Великая французская революция». И так же, как Маркс и Энгельс, он скорбит о мягкотелости Парижской коммуны 1871 года: «Излишнее великодушие пролетариата: надо было истреблять своих врагов, а он старался морально повлиять на них, он принебрёг значением чисто военных действий в гражданской войне».

Захватив власть, Ленин ошибку парижских коммунаров не повторил, а последовал примеру якобинцев: «для обновления страны» он не медля учредил Чрезвычайку и Революционные трибуналы, начал массовый террор.

Только раз он попрекнул якобинцев в 1921 г. в статье «О продовольственном налоге», попрекнул за стремление победить спекулянта казнями лишь отдельных, немногих, «избранных» и громами деклараций.

Особенно часто Ленин вспоминал якобинцев в 1917 г. Вот выдержка из речи, произнесенной им 4/17 июня: «Историки пролетариата видят в якобинстве один из высших подъёмов угнетённого класса в борьбе за освобождение. Якобинцы дали Франции лучшие образцы демократической революции... сознательные рабочие и трудящиеся верят в переход власти к революционному угнетённому классу, ибо в этом суть якобинства».

Через три дня в «Правде», в статье «О врагах народа»: «Якобинцы объявили врагами народа тех, кто "способствует замыслам объединенных тиранов", направленным против республики. Пример якобинцев поучителен. Он и по сей час не устарел, только применять его надо к революционному классу XX века, к рабочим и полупролетариям. Враги народа для этого класса в XX веке — не монархи, а помещики и капиталисты как класс... Якобинцы 1793 года вошли в историю великим образцом действительно революционной борьбы с классом эксплуататоров со стороны взявшего всю государственную власть в свои руки класса трудящихся и угнетенных».

Ленин умолчал тут, что якобинцы вошли в историю образцом действительно революционной борьбы не только с классом эксплуататоров, но и с классом «отсталых» крестьян, которые во многих местах сопротивлялись требованиям комиссаров Комитета Общественного Спасения и «политическим» армиям городских санкюлотов.

Сен-Жюст подозревает деревню в приверженности к старому режиму и к «фанатизму», т. е. к христи-

анской религии. Он требует беспощадной расправы с врагами республики: «теми, кем невозможно управлять справедливостью, нужно управлять железом».

Площадь, сначала Гревская, потом Бастильская, потом у ворот ниспровергнутого трона. Посреди площади на высоком помосте страшный, нечеловеческий предмет — гильотина. Кажется, она возносится выше собора Нотр-Дам. Вокруг кипит толпа. Под грохот барабанов на плаху в непрерывном шествии всходят, осыпаемые ругательствами, «враги народа»: «бывший король Луи Капет», «бывшая мадам Дю Барри», королева, «бывшие» маркизы, неприсягнувшие, а потом и присягнувшие священники, скупщики, жирондисты, эбертисты, «изменник» Дантон. Со зловещим свистом стремительно падает косой нож «национальной бритвы», под аплодисменты всегда многочисленных зевак головы скатываются в корзинку. Знаменитые кумушки-«вязальщицы» весело переговариваются. Для «Папаши Дюшена» — настоящий праздник.

Ужасное видение это заслонило в памяти потомков другие кровавые деяния якобинцев: массовые убийства в Бордо, в Тулоне, в Лионе, в Ниевре, в Провансе. По спискам, составленным по непроверенным доносам, военные «пятерки» и чрезвычайные комиссии гильотинируют, расстреливают, топят. Лионская ЧК вынесла за полгода две тысячи смертных приговоров, больше, чем за тот же срок Революционный Трибунал в Париже. Особой жестокостью, смутившей даже Робеспьера, прославились тёзка Сталина Монтаньяр и отъявленный негодяй Жозеф Фуше, впоследствии министр полиции при Директории, при Консульстве, при Империи, при Реставрации. Ему дали даже титул: герцог Отранский. Многие французские города были полны тогда беспризорными детьми. Большинство их погибло.

Но главный пример революционной борьбы, кото-

рому Ленин прилежно следовал, — это беспощадное подавление крестьянского восстания в Вандее. 1 августа 1793 года Конвент решает обречь мятежную Вандею на полное опустошение: вырубить леса, разрушить «вертепы разбойников», скосить хлеба, депортировать женщин, детей и стариков внутрь страны. В Ренн, Туре, Анже суд над повстанцами сводился только к проверке перед казнью удостоверений личности. В Нанте уполномоченный Конвента Каррье без всякого суда топит в Луаре от 2-х до 3-х тысяч «подозрительных». Еще более великий пример «действительно революционной борьбы» показали «адские колонны» Тюро и того же Каррье: они топят детей, заживо сжигают женщин, пытают крестьян, убивают пленных. Всего погибло 350 тысяч человек.

Если мы будем помнить, как Ленин восхищался «действительно обновляющим страну террором», которым прославила себя Великая французская революция, мы не станем удивляться, что большевистская диктатура оказалась столь похожей на якобинскую. Только большевики намного превзошли в свирепстве своих учителей якобинцев, уничтожили миллионы и миллионы жизней.

Не то что Робеспьер, Сен-Жюст и паралитик Кутон, потопивший в крови Лионское восстание, были добрее Ленина, Троцкого и Сталина, они просто не успевали по-настоящему развернуться. На счастье Франции среди якобинцев Конвента оказались люди более проницательные, чем старые большевики. Почувствовав, когда отменили депутатскую неприкосновенность, что волна кровавых чисток может захлестнуть их самих, они устроили 9-е Термидора. Более 300 тысяч заключенных, «подозрительных», несомненно обречённых на уничтожение, были спасены. Франция избежала дальнейшего углубления проклятого будущего сходства.

Так же, как большевики, Робеспьер и Сен-Жюст до прихода к власти были убежденными противниками смертной казни. Несмотря на всё свое преклонение перед автором «Общественного договора», Сен-Жюст осуждал Жан-Жака Руссо за то, что тот требовал смертной казни для отступников от «общественной религии». «О, великий человек, я не могу тебе простить, что ты оправдал смерть!»

Но, войдя в Комитет Общественного Спасения, Сен-Жюст говорит уже другим языком: «Республика не будет в безопасности до тех пор, пока остаётся в живых хотя бы один ее противник!».

Сыпятся окаянные декреты. Эмигранты и контрреволюционеры, всякий, кого видели с белой кокардой на шляпе, объявляются вне закона. Их лишают права на суд присяжных, их дела разбираются без соблюдения правовых гарантий и процессуальных правил.

Учреждённые в марте 1893 года Чрезвычайные Комиссии выносят тысячи смертных приговоров. В апреле начинает действовать Революционный Трибунал. Робеспьер доказывает: в руках победившей партии суд должен стать орудием борьбы и расправы. Члены Революционного Трибунала — слуги якобинской диктатуры. Их не должны связывать никакие «старомодные» требования законности. Быть во время войны справедливым и соблюдать законы — нелепо. Верховный закон — спасение революции, достигаемое уничтожением ее врагов.

Подсудимый признается виновным не потому, что его уличили в совершении вменяемого ему преступления, а потому, что он принадлежит к определенному классу общества и несомненно, представься только случай, это преступление совершил бы. Поэтому вопрос, было ли преступление действительно им совершено, не имеет значения, и производить расследование и проверять доносы и свидетельские показания

нет нужды. Каждое дело должно разбираться не больше трех дней. Якобинцы считали, что это достаточный срок, чтобы «просветить» совесть судей. Приговоры Революционного Трибунала не подлежат обжалованию и приводятся в исполнение в 24 часа.

Одни эти названия — «Чрезвычайные Комиссии», «Революционный Трибунал» — ответ на вопрос, у кого учились, с кого брали пример большевики. Обдумывая план создания чрезвычайного органа, Ленин хотел, чтобы его возглавил «хороший революционный якобинец, русский Фукье-Тенвилль. Необходимые качества оказались у Феликса Дзержинского *). Антуан Фукье-Тенвилль был действительно «хорошим революционным якобинцем», при нем за полтора месяца было гильотинировано больше «врагов народа», чем за весь предыдущий год.

Робеспьер и Сен-Жюст — предшественники и учителя Вышинского, он «углубил» их идею, что революционные трибуналы должны быть орудием расправы с классовыми врагами. Таким орудием расправы с классовыми врагами стала ЧК, которой было предоставлено право совершенно самостоятельно производить обыски, аресты и расстрелы. «ЧК, — учил Лацис, — это не следственная комиссия, не суд и не трибунал. Это боевой орган, действующий по внутреннему фронту. Он не судит врага, а разит. Не милует, а исцеляет всякого... Не ищите на следствии материала и доказательств того, что обвиняемый действовал словом и делом против Советской власти. Первый вопрос, который вы должны ему предложить, — к какому классу он принадлежит, какого образования, воспитания, происхождения или профессии. Эти вопросы должны определить судьбу обвиняемого. В этом смысл и сущность красного террора». Ленин в 1921 году: «суды у нас классовые против буржуазии».

---

*) Михаил Геллер. Концентрационный мир и советская литература. Overseas Publications International Ltd. London, 1974.

Разработанный Сен-Жюстом закон 17-го ноября 1793 года объявляет «подозрительными» целые пласты населения. Подлежат немедленному задержанию: все аристократы, родственники и свойственники эмигрантов, все неприсягнувшие священники, всякий, кто словом, делом или по своим личным связям проявил «дружбу» к тирании, федерализму и контрреволюции, всякий, кто не получил от своей секции свидетельство о благонадёжности, всякий, кто не заплатил налоги, всякий, кто не может доказать, что в прошлом всегда вёл себя как истинный патриот, всякий, кто ругал «максимум» *), всякий... и т. д.

Тюрьмы быстро переполнились. «Подозрительных» стали сажать «до наступления мира» в монастыри и другие брошенные здания. Кормиться они должны были, как могли, на свои собственные средства.

Скученность, грязь, никакого ухода. Вспыхнули эпидемии. Многие умирали. Депутат Арьежа Гастон вносит в Конвенте предложение в случае восстания роялистов сжечь старые и новые тюрьмы вместе со всеми заключенными в них «подозрительными».

Сен-Жюст заявляет 10-го октября 1793 г.: «Теми, кем невозможно управлять справедливостью, нужно управлять железом. Вы должны карать не только предателей, но даже безразличных, вы должны карать всякого, кто пассивен в Республике и ничего для нее не делает».

Робеспьер возмущался, когда «народное правосудие» осмеливались называть подавлением: щадить роялистов и «негодяев» — это значит не жалеть невиновных, не жалеть несчастных, не жалеть человечество. Когда идёт война, единственное средство избавиться от «нечистых» — это всех их уничтожить.

Мысль не новая. Она приходит уже вождям мессианских революционных движений средневековья.

*) Цена, выше которой не разрешалось продавать зерно и муку. Максимум был распространен потом на все продукты.

Через якобинцев она передалась коммунистам. По продолжительности, размаху и свирепству большевистский террор несоизмеримо превзошёл якобинский, но его вдохновение и цели те же.

Что же это за цели? Якобинцы хотели не только защитить революцию от врагов, но и уготовить путь для прихода обетованного «философами» царства счастья, свободы, мудрости и добродетели. Для этого надо переделать общество и перевоспитать человека, освободить его от власти оскверняющих предрассудков, эгоистических побуждений и дурных привычек, сделать из него нового, цельного, «добродетельного», дисциплинированного человека, которого не будут больше раздирать ни внутренние противоречия, ни дух своеволия. Он всегда будет желать и чувствовать и думать только то, что требует непогрешимая общая воля, и, следовательно, больше не будет совершать антисоциальные поступки. Принуждение и подавление станут тогда не нужны. Новое гармоническое общество могло бы уже существовать, но его приходу мешает эгоизм и развращенность определенных людей, противников революции. Их нужно уничтожить. «Укрощайте врагов свободы террором».

Так же собирались изменить людское естество и Маркс, и Энгельс, и их наследники большевики. Они говорили об этом почти теми же словами, что якобинцы. Построить общество, где не будет больше классовых противоречий, ни эксплуатации человека человеком, свободное развитие каждого станет условием свободного развития всех и место правительства над лицами заступит распоряжение вещами и руководство процессами производства. Воспитать нового коммунистического «тотального» человека. Принуждение и подавление тогда станут не нужны: совершать антисоциальные поступки будут разве только душевнобольные. Но прежде нужно «по-якобински» разделать-

ся со всеми, кто мешает построить социализм: враждебными классами, контрреволюционерами, врагами народа, ренегатами.

Идею, что человека и общество нужно переиначить, якобинцы, а через них Маркс и Ленин, переняли у Руссо. Вспомним «Общественный договор»: «... Тот, кто решается предпринять основание нации, должен чувствовать себя способным, так сказать, изменить природу человека; преобразить каждого индивидуума, который сам по себе есть совершенное и уединённое целое, в часть большего целого, от которого индивидуум будет известным образом получать свою жизнь и своё бытие».

При розыске родословной большевизма Руссо не обойти. По выражению Жоржа Сореля, царство Руссо, начавшись в 1762 году, продолжалось почти сто лет. Думаю, продолжается еще и теперь. Не только якобинцы, но и Маркс, и большевики, и нацисты, все вообще тоталитарные идеологии вышли из его учения о свободе и общей воле. Учение неясное и противоречивое. Существуют самые разные его толкования. Наиболее проницательными и убедительными мне представляются предложенные Альбером Камю и проф. Тальмоном, автором исследований, капитальных для понимания природы современного тоталитаризма.

Согласно Руссо, человек жил в естественном состоянии по своей ничем не ограниченной воле. Но, заключая с другими людьми общественный договор, он передает свою естественную свободу и все свои естественные права коллективу и общей воле этого коллектива. И все его мысли, чувства и поступки определяются теперь этой общей волей. Без нее «он ничто и ничего не может».

Казалось бы, Руссо должен был признаться, как признался простодушный Шигалёв: «Я запутался в собственных данных, и мое заключение в прямом про-

тиворечии с первоначальной идеей, из которой я выхожу. Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом». Но ни сам Руссо, ни его ученики якобинцы, ни ученики якобинцев коммунисты такого признания не делают. Наоборот, они уверяют, что именно когда человек тотально отдает себя коллективу, тогда-то он и становится по-настоящему свободен и получает от коллектива свою жизнь, свое бытие.

Объясняет Руссо это так: заключая общественный договор, отдельные люди сливаются в одну коллективную общественную личность, и воля каждого становится частью единой общей воли, воли народа. Вот почему, подчиняясь этой общей моральной воле, человек в действительности подчиняется закону, поставленному им самим, т. е. самому себе, подчиняется своему настоящему, своему высшему «я». Он больше не раб своих эгоистических побуждений и страстей, и поэтому более свободен, чем в естественном состоянии. Общая воля, когда она выражается свободно, — непогрешима, абсолютна, неотчуждаема, соединена с вечным порядком мира, с тем, что всегда было и будет.

Неясное и противоречивое учение Руссо о коллективной воле ведет к тоталитаризму. Во всяком случае — привела Робеспьера и немецких романтиков. Я имею в виду, конечно, только немецкий политический романтизм, а не романтизм вообще.

Романтизм такой же сложный сплав, как просветительство. И так же, как просветительство привело и к великому обогащению европейской цивилизации, и, вместе с тем, в своих крайних ответвлениях, к последствиям губительным и страшным, — так и романтизм.

Как кратко определить романтизм? Реакция на просветительство, или, может быть, вернее — противоположная просветительству, но дополняющая его

тенденция развития? Бунт во имя живых человеческих чувств против иссушающего душу рационализма, впрочем, бунт не столько против новой математической модели мира, созданной великими учёными XVII-XVIII веков, сколько против почти карикатурного материализма таких «философов», как Гольбах, Гельвеций и Ламетри, доведших до абсурда представление о мире и человеке как своего рода механизмах. Это они, эти «философы», образовали то направление французского материализма, которое, по мнению Маркса, усвоенному и Лениным, «вливается непосредственно в социализм и коммунизм». Правда, Ленин всё-таки оговаривался, что беда этих французских материалистов была в том, что они не умели применять диалектику. Маркс и Ленин их бы научили! Происхождение марксизма-ленинизма от крайнего «левацкого» протока просветительства так очевидно и об этом в русской эмиграции так много писали, что я не буду на этом останавливаться.

А вот с романтизмом не так все ясно. Отвергая учение о человеке-машине, романтики верили: человек с его непосредственными, трудно изъяснимыми чувствами соединён внутри себя с таинственным сверхразумным источником поэзии, вдохновения и любви.

Он пел разлуку и печаль
И нечто, и туманну даль,
И романтические розы;
Он пел те дальные страны,
Где долго в лоно тишины
Лились его живые слёзы...

В этом ласково-насмешливом описании юношеского стихотворения Ленского весь романтизм: недуг «чувствительных душ» — маланхолия, неясная тоска, по-

этический энтузиазм. В лучших своих творениях романтики возвышались до близкого к мистическому чувства связи человека с бытием Бога и мира.

Вот у Баратынского:

Как будто бы своей отчизны давней
Стихийному смятенью отдан он,
Но иногда, мечтой воспламененный,
Он видит свет, другим не откровенный...

Английский романтизм в своих корнях был сродни платонизму Кембриджа и Оксфорда, и сродни либерализму. Во всяком случае романтизм, даже «демонический», даже байронический, был восстановлен в защиту личной субъективной жизни и творческой свободы человека от подавляющих его объективностей, в том числе и от «Левиафана». Немецкий же политический романтизм в своем постепенном вырождении пришел к прямо противоположному: к обожествлению государства и к отрицанию реальности отдельного человека и его свободы.

Читая в 1919-1920 годах лекции о смысле истории, Бердяев не предвидел, что немецкий политический романтизм — ублюдок, порожденный французской революцией, культом Наполеона с его волей к могуществу, и гердеровским фольклором, — докатится до национал-социализма, так же, как он не заметил, что перед тем романтическая историософия взрастила Маркса.

Как это могло случиться? Ведь всё началость полюдски, по-человечески: «Буря и натиск», «Страдания юного Вертера», меланхолическая созерцательность: озеро или река, на крутом берегу полуразрушенный средневековый замок, верования. Господи, как не любить всё это! Но уже Гердер, благородный Гердер, поклонник свободы и защитник равенства прав

всех народов, заставляет насторожиться: оказывается, все это — и замки, и песни, и обычаи — выражения «коллективной души народа». Вот зачаток симфонической личности! Нация — органическое единство, она реальнее составляющих ее отдельных людей, она им предшествует.

Как это часто бывает в истории идей, началось с еле заметного сдвига стрелки: «Я» находит себя не в непосредственном чувстве соединённости с самим принципом жизни — космосом и Богом, а сливаясь с «душой народа». И вот уже немецкий романтизм переходит на другую опасную дорогу, которая ни к чему хорошему не приведет.

Правда, нация Гердера — это единство, основанное не на общественном договоре, как у Руссо, а природное, органическое. Но ведь в самом-то главном это то же самое: полноту своей жизни человек получает от коллектива. Взятый в отдельности, вне коллектива, он — ничто.

Немецкие романтики не почувствовали тут опасности. Начав с пылкого утверждения личных чувств, они поверили, что возвращение в лоно органической исторической жизни народа, этого вечного источника вдохновения и творческих сил, приведет не к растворению личности в коллективе, а наоборот, к её расцвету. Они не знали, что нет ничего более несправедливого и антиличного, чем органические общества, подчинённые слепому и беспощадному закону естественного отбора. Не знали, что, в отличие от всех других животных, которые со дня рождения подчиняются запрограммированному в их генетическом коде устройству роевой жизни, человек изменил «правила игры», прибавил к требованиям выживания вида «непредвиденное» природой требование абсолютной справедливости и уважения к жизни и свободе индивида. Это требование иррационально, ничем не обосновано и

очень всё осложняет, но именно оно придает нашей жизни человеческое значение и делает нас людьми. Его нужно признать без всяких доказательств, как аксиому, как Истину, принять так же безоговорочно, как оно утверждается в Евангелии.

Немецкие же романтики, без оглядки поверив в добро и гармонию всего органического, не замечали, что какого бы совершенства ни достигали в своем устройстве и функционировании органические общества, они всегда тяготеют к тоталитаризму, коллективизму, расизму, а не к христианскому братству всех людей в мистической надмирной Республике.

С того и началось... Отвергнув учение о прирожденных неотъемлемых правах человека и теорию естественного права, общего всему человечеству, Савиньи утверждает, что единственный источник права — исторически сложившиеся в душе народа представления о справедливости. В знаменитых посланиях Фихте к германской нации из-за романтических средневековых развалин уже начинают проступать зловещие очертания будущего гитлеровского Рейха, «коллективная душа народа» оборачивается материнской утробой тоталитарного национализма. В окончательно разрушенной Наполеоном средневековой Священной Империи Германского народа немецкие романтики прозревают мистическую соборность, некую национальную Церковь. Шарнгорст преображает прусскую армию. Теперь это народная армия, воодушевленная героическим жертвенным порывом. В освободительной войне 1813 года возрождается идея всегерманского Рейха.

Средневековье не казалось Гегелю, как другим романтикам, потерянным Золотым веком. Нет, он сперва в Наполеоне увидел олицетворение Мирового Духа верхом на коне. Позднее он стал учить, что на современном этапе своего диалектического развития этот Дух наиболее совершенно воплотился в прусском

бюрократическом государстве. Государство — верховное бытие. Только в нем, только подчиняясь его законам, человек обретает духовную реальность, свободу и моральную жизнь. Государству всё позволено: и любая тирания, и любые завоевания. Войны только закаляют моральное здоровье нации.

И так докатилось: от легендарного германского героя Арминия, остановившего вторжение римских легионов, до Шпенглера, до Гитлера, до Третьего Рейха.

В национал-социализме слились все рукавичные протоки немецкого политического романтизма. В идеологии расизма идея органического единства народа выродилась в учение о Нации как о Церкви, которая предшествует своим членам и может требовать от них тотального самопожертвования. Вся реальность индивида определяется его расовой принадлежностью, все свое бытие и силы жить и действовать он получает от нации. Гегель: «Что листья без дерева? Ничто. В органической жизни в счёт только деревья».

Фашистская вариация: симфоническая личность итальянского народа интегрально осуществляется в фашистском государстве. Оно, это государство, — «общая этическая воля», «душа души народа», оно направляет всю жизнь. Для фашизма, и для национал-социализма, высшая реальность — не личность человека, а коллективная личность народа, организованного в национальное государство.

Та же модель в коммунистическом государстве: «... сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений...»

Христианская идея личности Маркса не устраивала. В споре по еврейскому вопросу с богословом Бруно Бауером он писал: «Политическая демократия является христианской, поскольку в ней человек — не

какой-либо человек, а каждый человек — почитается суверенной ценностью».

Все правильно. Почему же Марксу не нравится, что политическая демократия основана на христианском учении о суверенной верховной ценности каждого человека? Что тут плохого? Повторим и продолжим цитату, и мы поймем, чем Маркс недоволен: «Но ведь этот же человек в его нецивилизованном и необщественном аспекте, в его случайном существовании, извращенный всем устройством нашего общества, потерянный и отчужденный от самого себя, подчиняемый господству нечеловеческих условий и сил — одним словом, человек, ещё не ставший подлинным членом человеческого рода — недоделанное существо».

Так вот в чем дело, для Маркса, так же, как и для Великого инквизитора Достоевского, человек, «извращенный всем устройством нашего общества и отчужденный от самого себя» — «недоделанное существо». Как же признать его суверенной, верховной ценностью! Его прежде нужно доделать. Эмансипация человека совершится, только когда он станет при коммунизме родовым существом, познает и организует свои личные силы как силы общественные. Другими словами, человек, как в «Общественном договоре», обретёт подлинную свободу и полноту жизни, тотально подчинив себя непогрешимой общей воле бессмертного коллектива. Маркс недаром был прилежным читателем Руссо.

Тут марксисты возопиют, что Маркс вовсе не то имел в виду, что всё это выхвачено из контекста, неточный перевод. Так же, как их выводит из себя, если заикнуться, что много раз повторяющееся в этом ответе Бауеру утверждение Маркса, что настоящий Бог евреев — деньги, утверждение антисемитское. Не стану спорить. Марксова схоластика допускает какие угодно толкования, и всегда можно доказать, что по-

том он говорил по-иному. Во всяком случае, лично мне сдаётся, что если очнувшись, как лунатики, муравьи вдруг обретут способность рассуждать, сила социального давления, которая заставляет их служить муравейнику, представится им в образах тоталитарного мифа, вроде марксизма-ленинизма или сродного ему национал-социализма.

Все эти учения о коллективных личностях, будто бы более реальных, чем личность отдельного человека, не совместимы, конечно, с евангельским утверждением верховной ценности личности каждого человека, даже самого последнего.

«Личности коллективные, — говорит Бердяев, — личности сверхличные в отношении к личности человеческой суть лишь иллюзии, порождения экстериоризации и объективизации. Объективных личностей нет, есть лишь субъективные личности. И в каком-то смысле собака и кошка более личности, более наследуют жизнь вечную, чем нация, общество, государство, «мировое целое».

Эти слова Бердяева делают его одним из великих учителей нашего времени, за них ему прощаются все его неверные и безответственные высказывания о происхождении русского коммунизма.

Вопрос о личности и коллективе — главный вопрос истории человечества. Человек получает от общества и поддержку в борьбе за существование, и знания, и силы, необходимые для каждодневной деятельности, и богатства культуры, и хранимые в языке идеи, изобретенные и разработанные другими людьми. И все-таки, по христианскому учению, подлинное бытие человека не в совокупности общественных отношений, а в причастии беспредельной, все творящей любви Бога ко всем людям и всему творению. Отсюда два вывода. Первый: отношения христианина с другими людьми должны определяться не социальным

давлением, а заповедью «любите друг друга», он должен обращаться с каждым, как если бы перед ним был сам Христос. Второй вывод: не коллектив, и тем более не «фазы развития производительных сил», возведенные Марксом в какие-то все определяющие, хотя и безличные сущности, а именно отдельный человек, соединённый внутри себя с божественным источником любви, свободы и творчества, сделал все великие открытия и создал все прекрасное. Муравейник устроен совершеннее человеческого града, но, отказавшись от субъективности и свободы, муравьи не любят друг друга и ничего не изобретают. В их обществе творческая эволюция остановилась.

Сошлюсь тут на Анри Бергсона. До сих пор, несмотря на все теперешнее развитие социологии и антропологических наук, никто еще не написал лучше него о человеке и обществе. «Общество — сложение индивидуальных энергий, оно пользуется усилиями всех и облегчает всем их усилия. Оно не может существовать, не подчиняя себе индивидуума, но не может прогрессировать, не предоставляя ему свободу. Вот два противоположных требования, которые нужно примирить. У насекомых выполнено только первое условие. Общества муравьев и пчел восхитительно дисциплинированны и монолитны, но они застыли в неизменной рутине... они бесконечно движутся по кругу, вместо того, чтобы идти по прямой к большей социальной эффективности и вместе с тем к большей индивидуальной свободе. Только человеческое общество стремится к этой двойной цели... интеграции и в то же время индивидуализации».

Прибавлю от себя: тут вечная правда либерального общества перед тоталитарным. Тоталитарное, чем оно монолитнее, чем дисциплинированнее, тем больше, как Советский Союз сегодня, подавляет дух изобретательства и творчества и постепенно коченеет в сомнамбулизме.

Учение Руссо о тотальном подчинении человека воле коллектива способствовало развитию тоталитарных идеологий еще вот почему. Воля народа, — невнятно объясняет Жан-Жак, — не всегда совпадает с волей всех. Ведь она неизменно стремится к общему благу, а воля всех — только сумма частных воль, преследующих частные интересы. «Однако, необходимо, чтобы все голоса были сосчитаны; всякое формальное исключение нарушает всеобщность».

Спрашивается: если общая воля, «постоянная, нерушимая и чистая», существует как бы сама по себе, вроде вечных платоновских идей, и может не совпадать ни с волей всех, ни с волей хотя бы только большинства, то почему собственно тогда необходимо подсчитывать голоса? Тем более, что в некоторых случаях, например, когда отечество в опасности, общую волю могут выражать всего несколько человек, и даже один только человек, наиболее достойный. Он становится верховным вождем, диктатором, может приостановить на время действие закона.

Робеспьер был великим почитателем Руссо, называл его божественным человеком. Ход мысли Неподкупного легко себе представить. Руссо указал один только признак для распознания общей воли: она всегда направлена к достижению блага народа. И я, Робеспьер, убежденный демократ, тоже всегда хотел общего блага, всегда любил добродетель, и у меня нет никаких личных, никаких частных интересов. Значит, моя воля совпадает с общей волей. Значит, поскольку общая воля едина и неделима, все волеизъявления, отличные от воли моей и якобинской, должны быть отвергнуты как частные. Они разрушают единство Республики.

Робеспьер искренне верил: истину и справедливость воплощает только одна партия — якобинская партия. Впрочем, это не партия в обычном смысле,

а просвещенный авангард народа *). Если же народ не захочет подчиняться своей собственной воле, осуществляемой диктатурой якобинцев, его надо принудить. Применение силы и устрашения оправдано. Единственный закон — спасение Республики. Право каждого свободно выражать свою волю и свое мнение отрицается. Когда отечество в опасности, место принципа народного избрания заступает принцип неограниченной власти немногих непогрешимых носителей общей воли, или, как мы видели, даже только одного наиболее достойного. Робеспьеру открылось: этот наиболее достойный человек, о котором говорил Руссо, — это именно он, Робеспьер.

Комитет Общественного Спасения, особенно после декрета 14-го Фримэра 2-го года Республики, — прообраз ленинского ЦК. Владимир Ильич полностью воспринял якобинскую идею просвещенного авангарда. Конечно, пролетариат — исполнитель воли истории, но думать, что рабочее движение само по себе может выработать самостоятельную идеологию, — глубокая ошибка. «История всех стран свидетельствует, что исключительно своими собственными силами рабочий класс в состоянии выработать лишь сознание тред-юнионистское». Разве сам Маркс не говорил: «то, что тот или другой пролетарий или даже весь пролетариат воображает своей целью, не имеет значения». Отсюда Ленин делает вывод: «социал-демократического сознания у рабочих не могло быть, оно могло быть принесено только извне. Поэтому наша задача, задача социал-демократии, состоит в борьбе со стихийностью, состоит в том, чтобы совлечь рабочее движение с этого

---

*) У санкюлотов всегда добрая воля, но они сами, люди бедные и непросвещённые, — не способны правильно ее выразить и правильно себя вести. Им нужен «электрический вождь». «Народ велик, но индивидуумы слабы». Общественное сознание нужно революционизировать и просветить. Пока же народ тёмен и нищ, его волю выражают якобинцы.

стихийного стремления тред-юнионизма под крылышко буржуазии и привлечь его под крылышко революционной социал-демократии».

Чтобы выполнить эту задачу, «партия вбирает в себя авангард пролетариата, и этот авангард осуществляет диктатуру». Сталин последовательно развил потом мысль Ленина: диктатура пролетариата есть, по существу, диктатура его авангарда, диктатура его партии.

Так большевистская партия становится носительницей «воли» диалектического процесса истории, во многом схожей с общей волей Руссо. С самого своего возникновения ленинская партия — боевая централизованная организация профессиональных революционеров, возглавляемая несколькими опытными вождями. В брошюре «Что делать?», уже мною упомянутой, Ленин в ответ на обвинения в непонимании демократизма ссылается вовсе не на Ткачёва, а на пример немецких социал-демократов: «... у немцев достаточно уже развита политическая мысль, достаточно накоплено политического опыта, чтобы понимать, что без «десятка» талантливых (а таланты не рождаются сотнями), испытанных вождей, превосходно спевшихся друг с другом, невозможна в современном обществе стойкая борьба ни одного класса... И вот я утверждаю: 1. что ни одно революционное движение не может быть прочно без устойчивой и хранящей преемственность организации руководителей».

Впрочем, следуя учению Руссо и Робеспьера о возможности воплощения народной воли в одной партии или даже в одном человеке, Ленин считал, что коммунистическую партию, этот авангард пролетариата, может возглавлять не только десяток вождей, а всего один вождь.

В 1920 году на IX съезде партии Ленин заявляет: «Советский социалистический демократизм единонача-

лию и диктатуре не противоречит. Волю класса иногда осуществляет диктатор».

В том же 1920 году на III Всероссийском съезде профсоюзов: «Берите тысяча девятьсот восемнадцатый год... Я уже тогда указывал на необходимость единоначалия, необходимость признания диктаторских полномочий одного лица, с точки зрения проведения советской политики. Все фразы о равноправии вздор».

На IX партсъезде член группы «демократического централизма» Сапронов выступил против Ленина с прямым обвинением: «Стремление к единоначалию видно не только в управлении фабриками и заводами, оно уже заметно в стремлении заменить советы, исполком, президиум — губернаторами. Тогда зачем говорить о диктатуре пролетариата, о самодеятельности рабочих... никакой самодеятельности нет; вы и членов партии превращаете в послушный граммофон, у которых имеются заведующие, которые приказывают: иди и интригуй, — а выбирать свой комитет, свой орган не имеет права... Я тогда задам вопрос т. Ленину: а кто же будет назначать ЦК? А впрочем и здесь единоначальник. Тоже здесь единоначальника назначали...» *).

Уже и прежде, на VIII съезде, Осинский жаловался: «Деятельность партии была перенесена в ЦК. В ЦК устанавливалась политическая линия. Что делалось в самом ЦК, об этом местные органы не осведомлялись, а и сам ЦК, как коллегиальный орган, в сущности говоря, не существовал. Ленин и Свердлов решали очередные вопросы путем разговоров друг с другом» **).

---

*) История ВКП(б,) Краткий курс, 1938 г. и Стенографический отчет, Заседание второе, 30 марта 1920 г. (утреннее), стр. 113.

**) Стенографический отчет. 20 марта 1919 г. (утреннее), стр. 110.

Это не мешало самому Ленину, как истому якобинцу, утверждать, что власть находится в руках «рабочего класса и крестьянства». В действительности же власть была в руках не рабочих и крестьян, а в руках вооруженного идеологического меньшинства, которое немедленно начало гражданскую войну против крестьянства. Эта война привела к гибели миллионов и миллионов крестьян. Показательно, что в июле 1918 года любимую рабоче-крестьянскую власть поддержали одни только латышские стрелки. Не подойди они вовремя, левые эсеры взяли бы Кремль приступом.

Став диктатором, Ленин отказался от своего прежнего убеждения в необходимости разделения властей. Теперь он утверждает: революционное правительство, чтобы охранить свободу от фракций, должно обладать всей полнотой власти и необходимым аппаратом для действий быстрых и не стесненных контролем законов, должно мобилизовать все силы народа, чтобы бить мощно и беспощадно. При разделении властей это невозможно. Поэтому, разделение властей упразднить. Вся власть Комитету Общественного Спасения!

Вспомним: Руссо полагал, что разделять суверенную власть народа на законодательную, исполнительную, судебную, административную и т. д. так же нелепо, как составлять человека из нескольких разных тел: у одного тела только глаза, у другого только руки, у третьего только ноги и ничего больше.

Якобинцы были убеждены: их диктатура не только не нарушает свободу, а наоборот ее укрепляет. Одни только злонамеренные, эгоистические и развращенные люди могут жаловаться, что их свобода нарушается. Свобода будет восстановлена, только когда борьба с врагами свободы кончится полным их уничтожением. Пока же есть оппозиция, свободы не может и не должно быть.

Робеспьер не сомневался: различия в мнениях — это не что-то естественное, а выражение эгоизма, порочности и глупости. Поэтому в людях с другими, чем у него, мнениями он видел внутренних врагов Республики, более опасных для нее, чем все неприятельские армии. Принцип патриотов — единодушие. (Вот оно — монолитное единство партии!).

Уже после казни жирондистов Робеспьер читает в Конвенте в феврале 1794 года доклад «О принципах моральной политики»: «Нужно задушить внутренних и внешних врагов Республики... в революции движущая сила народного правительства — это одновременно добродетель и террор: добродетель, без которой террор пагубен, террор, без которого добродетель бессильна. Террор есть не что иное, как правосудие, быстрое, суровое, непреклонное. Следовательно, террор — одна из эманаций добродетели... Внутренние враги французского народа разделились на две оппозиционных группировки, как на два армейских корпуса. Они движутся под знаменами разного цвета и по разным дорогам, но к той же цели. Цель эта — развал народного правительства, разрушение Конвента, т. е. торжество тирании. Одна из этих группировок толкает нас к слабости, другая к крайности».

В марте 1794 года судили и казнили эбертистов, в апреле дантонистов. Если перевести на сталинский язык, это была ликвидация левого и правого уклонов. Когда же после этого в Конвенте возникли новые разногласия, Робеспьер пришел в ужас.

В своей ненависти к фракциям и ко всем другим партиям, в своих расправах с оппозицией, в своей одержимости идеей монолитного единства, большевики — подражатели якобинцев. Они затвердили уроки Сен-Жюста: «При режиме свободы, основанном на абсолютной истине и добродетели, партии и фракции — преступный анахронизм. Мятежные группировки

нужны были при старом режиме, они способствовали изоляции деспотизма и ослаблению тирании. Сегодня они преступны, так как изолируют свободу... Борьба партий уводит сердца и умы от любви к отечеству... Всякая партия преступна... всякая фракция преступна... фракции — самый страшный яд в политическом организме... Разделяя народ, они подставляют на место свободы партийные страсти».

Так думали и большевики. Уже в 1918 году были запрещены все партии, кроме коммунистической, даже самые левые. Затем взялись и за внутрипартийную оппозицию. В 1921 году X партсъезд предписывает немедленно распустить все фракционные группы. С тех пор борьба с оппозицией и фракциями все усиливается. Оппозиционеров начинают исключать из партии и расстреливать.

Робеспьер до прихода к власти требовал неограниченной свободы печати. Но, возглавив Комитет Общественного Спасения, он, так же как на фракции, гневно ополчается на «продажных писак, сговорившихся убить общественную добродетель, сеять раздор и готовить политическую контрреволюцию...»

То же и Сен-Жюст: «Революции нужен или диктатор, чтобы спасти ее силой, или цензор, чтобы спасти ее добродетелью». «Или... или» потом отбросили. Робеспьер стал и диктатором, и добродетельным цензором.

29-го марта 1793 года особым законом была установлена смертная казнь для тех журналистов и авторов памфлетов, которые будут нападать на суверенитет народа, призывать к роспуску Национального Конвента и восстановлению монархии.

«Требование свободы печати, когда революция торжествует, — контрреволюционно, так как оно подразумевает свободу бороться с революцией, а такой

свободы не должно быть. Зато полная свобода поддержать революцию».

Разве не так рассуждают и советские цензоры? У нас полная свобода печати, при одном условии, конечно: она должна способствовать укреплению социализма и поддерживать нашу власть. Последние некоммунистические газеты были закрыты уже в 1918 году. Правда, еще до декабря 1925 года в партийных журналах появлялись время от времени статьи представителей внутрипартийной оппозиции. А незадолго до XV партсъезда ЦК даже напечатал в форме приложения к «Правде» несколько номеров «Дискуссионного листка» с контртезисами, статьями и речами оппозиционеров. Но это в последний раз прозвучал в советской печати голос несогласных с политикой ЦК.

Укажу еще на некоторые другие черты сходства между якобинской и болшевистской диктатурами.

Якобинцы не были социалистами и не собирались отменять частную собственность, но они установили то, что Ленин называл «настоящим и главным преддверием социализма» — продовольственную диктатуру, строжайший контроль над распределением хлеба и топлива. По всей Франции, особенно в районах, снабжающих Париж, снуют отряды революционной армии и санкюлотов, посланных производить военные реквизиции и выколачивать из деревни хлеб и всякое вообще продовольствие. Нехорошие, несознательные крестьяне не хотят продавать зерно и муку по установленной твердой цене, сокращают посевы, прячут излишки. «Аристократию фермеров и лавочников» надо поставить на колени. Обыски, как правило, производились среди ночи. Рассчет такой: видя солдат с ружьями и слушая яростные угрозы комиссара, крестьянин испугается и укажет свои потайные хранилища.

И вот под вооруженным конвоем танутся к Пари-

жу обозы и баржи, груженые хлебом, разными крестьянскими припасами, дровами.

24-го мая 1918 года «Правда» печатает письмо Ленина «К питерским рабочим». Ленин объясняет им, что пока они голодают, «миллионы и миллионы пудов хлеба прячутся богачами, кулаками и спекулянтами». Вывод простой: «необходима... обязательная сдача всего излишка хлеба государству по твёрдой цене, безусловное запрещение удерживания излишков хлеба кем бы то ни было... Хлеба для машин, то есть топлива, тоже крайний недостаток... надо организовать великий «крестовый поход» против нарушителей строжайшего государственного порядка в деле сбора, подвоза и распределения хлеба для людей и хлеба для машин... Нужен массовый «крестовый поход» передовых рабочих во все концы громадной страны. Нужно вдесятеро больше *железных отрядов*».

Так началась страшная эпопея продразвёрстки. Всё в этом письме Ленина «К питерским рабочим», даже язык, подсказано воспоминанием о примере якобинцев. Свидетельство тому фраза: «в критические минуты жизни народов бывало не раз, что даже немногочисленные передовые отряды передовых классов увлекали за собой всех, зажигали огнем революционного энтузиазма массы, совершали величайшие исторические подвиги». Позднее, в 1921 году, сам Ленин признает: «своеобразный “военный коммунизм” состоял в том, что мы фактически брали у крестьян все излишки, и даже иногда не излишки, а часть необходимого для крестьян продовольствия».

Устанавливая контроль над всем хозяйством, якобинцы проводят одновременно централизацию всего административного управления. Перед ними стояла многосложная и трудная задача: мобилизовать все ресурсы страны для производства вооружения и снабжения для армии; собирать и распределять продоволь-

ствие; поднять всенародное ополчение; бороться с «федерализмом», контрреволюцией, изменой и шпионами; взять всю власть на местах в свои руки. Чтобы осуществить всё это, потребовались бесчисленные особоуполномоченные агенты, техники, контролеры, чиновники всякого рода. Кадры органов управления и подавления чудовищно разбухали. Бюрократическая машина еще никогда не достигала во Франции таких размеров. Число новых постоянных и временных чиновников доходит в одном только Париже до многих десятков тысяч, в провинции до многих сот тысяч. Государство становится главным работодателем, огромное число граждан его платными служащими. Все это великое множество чиновников поставляют якобинские «народные общества», прозванные «факелами общественного духа».

Якобинский партаппарат сливается на всех ступенях управления с государственным и административным аппаратом. Одновременно в якобинских клубах идет беспощадная чистка, остаются только безоговорочные сторонники Робеспьера.

Муниципальные выборы отменяются. Местное самоуправление заменяется бюрократическим. Во главе каждого департамента ставят особого «национального агента», присланного из Парижа и ответственного перед Комитетом Общественного Спасения. Все эти национальные агенты и особоуполномоченные Конвента, опираясь на тьмы чиновников и отряды революционной армии, хозяйничали в стране от имени народа, угнетая народ, как настоящие завоеватели. Развращаясь властью и фактической безнаказанностью, они проникаются сознанием своего превосходства и всемогущества: от их усмотрения, от их произвола зависели благоденствие, жизнь и смерть граждан. Это неизбежно вело к вопиющим злоупотреблениям и скандалам, к чудовищным злодеяниям.

Рядом с революционной яростью в душах якобинских помпадуров расцветало то особое чувство, которое Щедрин бессмертно назвал «административным восторгом». Размахивая саблями и пистолетами, они обращались к населению с кровожадными призывами: «воздвигайте плахи, пусть стены ощетинятся виселицами, всякий, кто с нами не согласен, да будет немедленно умерщвлен!»

Мне легко это себе представить. Я видел в детстве в Одессе: солдаты с винтовками вводят человек двадцать арестованных в ворота ЧК, комиссар в кожаной куртке и в студенческой фуражке раздвигает собравшихся зевак, театрально широко размахивая наганом. Я был еще совсем мальчиком, но почувствовал в его лице это выражение упоения властью. Он знал, что на него смотрят.

Тогда пели гнусные куплеты:

Капиталист дрожит как лист,
Его сгибаю я в дугу,
Арестовать и расстрелять
Я всех и каждого могу.

Рост бюрократии огорчал добрдетельного Робеспьера, но он ничего не мог поделать.

И Ленин тоже огорчался, и тоже ничего не мог сделать. Уже в 1920 году на IX партсъезде представитель демократического централизма Сапронов заявляет: «Сколько бы ни говорили об избирательном праве, о диктатуре пролетариата, на самом деле это приводит к диктатуре партийного чиновничества».

На следующем, X съезде, в 1921 году, группа демократического централизма вносит резолюцию: «Ошибки, неизбежные при данных условиях, были усилены благодаря бюрократизации аппарата пролетарской диктатуры и в особенности ее верхушки».

На том же X съезде представитель группы Рабочей оппозиции Медведев говорит: «ЦК не охранял и не проводил также мер борьбы с разъедающим весь наш советский аппарат бюрократизмом, возмущающим широкие массы рабочих и беднейшие крестьянские элементы».

На XI съезде, в 1922 году, Осинский: «Мы должны от чиновничьих методов перейти на путь общественной деятельности».

Однако это всё оппозиционеры. Но вот сам Ленин пишет в июне 1921 года в большой статье «О продовольственном налоге»: «Возьмите вопрос о бюрократизме и взгляните на него с экономической стороны. 5-го мая 1918 года бюрократизм в поле нашего зрения не стоит. Через полгода после Октябрьской революции, после того, как мы разбили старый бюрократический аппарат сверху донизу, мы еще не ощущаем этого зла.

Проходит ещё год. На VIII съезде РКП, 18-23 марта 1919 года, принимается новая программа партии, и в этой программе мы говорим прямо, не боясь признать зла, а желая раскрыть его, разоблачить, выставить на позор, вызвать мысль и волю, энергию, действие для борьбы со злом, мы говорим о *частичном возрождении бюрократизма внутри советского строя*. (Курсив в оригинале. — В. В.).

Прошло еще два года. Весной 1921 года, после VIII съезда Советов, обсуждавшего (декабрь 1920 г.) вопрос о бюрократизме, после X съезда РКП (март 1921 года), подводившего итоги спорам, теснейше связанным с анализом бюрократизма, мы видим *это* (Курсив в оригинале. — В. В.) зло еще яснее, еще отчетливее, еще грознее перед собой».

Спрашивая затем, каковы экономические корни бюрократизма, Ленин пишет: «Главным образом это корни двоякие: с одной стороны, развитая буржуазия

именно против революционного движения рабочих (частью и крестьян) нуждается в бюрократическом аппарате, в первую голову военном, затем судейском и т.д. Этого у нас нет. Суды у нас классовые, против буржуазии. Армия у нас классовая, против буржуазии». Вопрос: откуда же тогда зло бюрократизма при рабоче-крестьянской власти? На это Ленин отвечает так: «У нас другой экономический корень бюрократизма — раздробленность, распыленность мелкого производителя, его нищета, некультурность, бездорожье, неграмотность, отсутствие оборота между земледелием и промышленностью, отсутствие связи и взаимодействия между ними».

Невольно вспоминаешь удивительные по прозорливости слова, сказанные Львом Толстым в 1891 году в беседе с корреспондентом «Русского Богатства»: «При социализме придется учредить такое количество чиновников, что они съедят 3/4 всего, что будет заработано людьми».

Так думал и другой писатель, на Толстого совсем не похожий, — Франц Кафка.

В начале 1920-х годов Кафку в его прогулках по Праге часто сопровождал тогда еще совсем молодой человек — писатель Густав Януш. Придя домой, он записывал все, что Кафка ему говорил, издал потом книгу «Разговоры с Кафкой». Там есть любопытная запись:

«Мы встретили на улице шествие рабочих. С плакатами и развернутыми знаменами. Они шли на митинг. Кафка сказал мне: «Эти люди так убеждены в своей правоте, так уверены в себе, так довольны! Они – хозяева улицы, и им кажется — они хозяева мира. Между тем, это заблуждение. За ними уже надвигаются секретари, бюрократы, профессиональные политики, все эти современные султаны, которым они готовят путь к власти!

...Я спросил Кафку: «Что же, вы не верите в распространение русской революции?»

Кафка задумался, потом сказал: «Чем шире разливается наводнение, тем мельче и мутнее становятся его воды. Революция выдыхается и оставляет после себя только ил новой бюрократии. Цепи страждущего человечества куются в министерских канцеляриях».

Такие простые, сегодня так очевидно, так страшно подтвердившиеся мысли не приходили в голову Ленину. Он слишком верил для этого в научность марксизма и, убежденный подражатель якобинцев, не мог, конечно, допустить мысли, что именно проводимая им политика национализации средств производства, централизованного контроля над всей хозяйственной жизнью и добивания враждебных классов, неизбежно должна была привести к возникновению и неудержимому разрастанию новой бюрократии. В злоупотреблениях коммунистического чиновничества он винил «примазавшихся к коммунистам старых чиновников, помещиков, буржуа и прочей сволочи, которая иногда совершает отвратительные бесчинства и безобразия, надругательства над крестьянами». Для борьбы с этим злом Ленин предлагает средство, уже хорошо большевиками испытанное. «Тут нужна чистка террористическая: суд на месте и расстрел безоговорочно. Пускай Мартовы, Черновы и беспартийные мещане, подобные им, бьют себя в грудь и восклицают: «хвалю Тебя, Господи, за то, что я не похож на «них», что я не признавал и не признаю террора». Эти дурачки «не признают террора», ибо они выбрали себе роль лакействующих пособников белогвардейщины по части одурачения рабочих и крестьян».

С тех пор террор всё усиливался, но бюрократическое извращение, которое так ужасало Ленина, не только не шло на убыль, а наоборот всё разрасталось. Буржуазия и крупная, и мелкая, и мельчайшая была

уничтожена. Ее место занял новый правящий класс, но это был не пролетариат, как ожидали Маркс и Ленин, а партийная бюрократия.

Ещё одна черта сходства большевистской революции с якобинской: раскрещивание, гонения на церковь и духовенство. Так же, как большевики, санкюлоты-атеисты разрушили многие церкви, срывали колокольни, чтобы «надменные памятники суеверия» не возносились выше жилищ народа. В Сант-Флур затейники палят по церкви, «так называемой Голгофе», из пушки. «Мы бы ещё больше радовались, если бы часовня была полна священниками». Колокола переливали на пушки, церковную утварь, митры, распятия, облачения, деревянные исповедальни, все вообще «старые идолы аристократической гордыни» ломали и жгли.

Французские историки Мишель Вовель, Альбер Собуль и др. приводят свидетельства очевидцев этих революционных «автодафе». Вот некоторые из них. Гражданин Гармодиус Рейонар из местечка Эмбрен рассказывает: на костре сжигают «картину бывшего святого Франсуа де Саль, который заставил свою любовницу, сестру Шанталь, прийти к нему, шагая по животам её детей». Вокруг костра толпа пляшет фарандолу. Вечером опять веселье: кадриль за кадрилью, а кто не пляшет — главным образом дети — заняты делом: сжигают «дюжину портретов епископов, кардиналов, иезуитов, большого Христа и Деву Марию из позолоченного дерева». Не хватало только «художника, чтобы заменить картины фанатизма портретами мучеников Свободы».

Санкюлоты привозят из Воклюз в Париж «отвратительные кости будто бы святого, которому обманщики-монахи заставляли поклоняться как богу дождя». В Пиоленк «святые из золота и серебра охотно отправились на монетный двор». В Сейсель «деревян-

ные и гипсовые святые испытали на себе, как руки санкюлотов уничтожают все аристократии одновременно». Депутаты от города Невер приносят в Конвент «большой золотой крест, жезлы, митры, святых и 17 сундуков с посудой и другими серебряными предметами».

«Очищенные» церкви превращали в храмы Разума, храмы Революции, школы, склады, в одном месте даже в жандармское присутствие! Лучшего символа насильственной революции не придумаешь: где была церковь — жандармское присутствие.

10 ноября в Соборе Парижской Богоматери устраивают — в присутствии депутатов Конвента — праздник Свободы. Свободу изображает молодая красивая актриса. Собор посвящается Разуму и Свободе. В конце месяца уже все парижские церкви посвящены Разуму. Будущий герцог Отранский Фуше предлагает ставить на кладбищах вместо крестов статуи Сна.

Но тут справедливость требует напомнить: сам Робеспьер не одобрял безобразий, творимых воинствующими атеистами. Он опасался: они пробудят, как в Вандее, «фанатизм», ведь народ в большинстве остался верующим. Но Робеспьер шёл дальше, он считал, что народ и должен оставаться верующим. «Атеизм — дело аристократов; наоборот, идея великого Существа, которое охраняет угнетенную невинность и карает торжествующее злодейство, — народна».

В Конвенте и у якобинцев Робеспьер неоднократно выступает в защиту свободы «культов». «Тот, кто хочет запретить священникам служить обедню, сам ещё больше фанатик, чем они».

Декрет, изданный 4 мая 1794 г., устанавливает новую государственную религию: «Народ французский признает бытие Всевышнего Существа и бессмертие души».

Через три дня выходит брошюра Робеспьера «О

соотношениях между религиозными и нравственными идеями и республиканскими принципами и о национальных праздниках». Робеспьер в ней пишет: «Даже если бытие Бога и бессмертие души только мечтание, это всё равно самое прекрасное из всех мечтаний человеческого духа... тот, кто может ввести Божество в систему общественной жизни, в моих глазах великий гений, тот же, кто, ничем не заменяя Божество, думает только о том, как бы изгнать Его из сознания людей, мне представляется чудовищем глупости и развращённости».

Такие мысли не приходили в гениальные, но плоские умы Маркса и Ленина, ненавидевших «Боженьку». Такие мысли приходили скорее героям Достоевского, только, конечно, Иван Карамазов, например, высказывает их несравненно гениальнее и с несравнимо большей силой.

8 июня того же 1794 года в Париже устраивается первый праздник, посвященный Всевышнему Существу и Природе. Парижане, солдаты, девушки с цветами, депутаты Конвента с Робеспьером во главе торжественно шествуют по булыжной мостовой на Марсово поле. Там была сожжена статуя атеизма и Робеспьер произнес речь.

Мне возразят — ну, как же, сходство, значит, не такое уж полное: Робеспьер отвергает атеизм, а Маркс и Ленин воинствующие атеисты. Это верно. Энгельс даже назвал идею личного бессмертия глупой, и большевики государственного культа Всевышнего Существа не вводили. Но они из самого марксизма сделали своего рода государственную религию с культом живых и «захоронённых» вождей и таким же, как у якобинцев, пантеоном героев и мучеников революции. Правда, марксова пантеистическая метафизика в отличие от деизма Робеспьера упразднила Бога совсем, зато обожествила материю, приписав ей атрибуты

абсолютного бытия. Материя для правоверного марксиста — единственная, несотворимая и неуничтожимая, вечная и бесконечная субстанция мира, которая от века порождает из самой себя жизнь и сознание без помощи какой-либо посторонней, надмирной силы.

Человек с метафизическим воображением, какого у Маркса и Ленина не было, может спросить: не означает ли марксистское обетование полной победы освобожденного человека над миром, что в конце концов и смерть будет побеждена? В советской литературе, еще не так давно, по поводу прелюбопытной поэмы Ильи Сельвинского «Арктика» подымался даже разговор о личном бессмертии. Герой поэмы Корней Корнеевич выводит надежду воскресения души и тела из кибернетики! Каждый человек — особый строй электронов. Но вот человек умирает, и этот строй распадается. Навсегда ли, спрашивает Корней Корнеевич. И отвечает: нет, не навсегда.

Так значит я и ты, и все другие
Лишь электронный принцип, дорогие,
Он распадется в нас, и мы умрём,
Он где-нибудь, когда-нибудь сойдётся,
И «я» опять задышит, засмеётся
В беспамятном сознании своём.
Сквозь новый ген,
Спустя мильон столетий,
А может быть и через год,
Я снова появлюсь на этом свете.

Во всяком случае, определённое различие в метафизических взглядах Робеспьера и марксистов не отменяет основного структурного сходства якобинской и большевистской революций. Повторяю, сходство это поразительно, даже в частностях.

Так же, как после них большевики, якобинцы переименовали тысячи городов, местечек и деревень.

Переименование часто сводилось только к тому, что отбрасывались слова «замок», «король» — напоминают старый режим, — и слова «святой», «святая», «крест» — увековечивают «яд фанатизма». В Париже, предместье Святого Антуана — предместьем Антуана просто. Но во множестве случаев прежние имена были заменены совсем новыми, революционными. Так, 263 местечка были наречены «Гора», 181 — «Свобода», немалое число — «Народ», «Нация», «Санкюлот», «Красный Колпак», и т.д. Другие были переименованы в честь героев и отцов революции — «Марат» (53 городка), «Бара», «Вольтер», «Руссо». Не были забыты и герои и битвы древности: Брут, Сцевола, Геркулес, Фермопилы, Марафон, была даже деревня Торпейская Скала.

Напомню еще одного учителя и Маркса, и Энгельса, и Ленина.Учитель — «Кай Гракх» Бабёф, глава Заговора равных. Идеология бабувизма — сплав идей Робеспьера, Марата, Эбера, эгалитарного коммунизма и революционного восстания — оказала огромное влияние на революционные движения XIX и XX веков. Она стала известна, главным образом, благодаря первому подручнику Бабёфа, Филиппу Буонаротти, который издал в 1828 году книгу «Заговор во имя равенства». Эта книга передаёт эстафету якобинства и коммунизма революционерам романтической эпохи. Прочитав её в 1842 году, Маркс приходит к выводу: идеи Бабёфа вели «по ту сторону идей старого порядка вещей, к новому социальному порядку, который не будет порядком буржуазным». Мысль Бабёфа о необходимости временной революционной диктатуры помогла Марксу прийти к идее диктатуры пролетариата. В «Манифесте коммунистической партии» сочинения Бабёфа упоминаются во фразе о литературе, «которая во всех великих революциях нового времени выражала требования пролетариата».

В «Анти-Дюринге» Энгельс тоже выдаёт бабувизму патент на пролетарское благородство, причисляет его к движению того класса, «который был более или менее развитым предшественником современного пролетариата».

Ленин перенимает у Маркса и Энгельса их отношение к Бабёфу. В конспекте книги Маркса и Энгельса «Святое семейство» он пишет: «Французская революция породила идеи коммунизма (Бабёф), которые при последовательной разработке содержали идею нового Weltzustand (мирового порядка)».

Известный французский историк Жорж Лефевр, социалист, проникшийся после Второй мировой войны симпатией к компартии, в заметке о Буонаротти весьма справедливо говорит: «Бабувизм вписывается как звено в развитие коммунистической мысли», и так же справедливо Лефевр спрашивает: «Не дала ли книга Буонаротти Ленину сюжеты для размышления?» Думаю, сомневаться в этом не приходится.

Прежде всего, заговор равных, в котором, забыв прежние раздоры, участвовали вчерашние якобинцы-террористы, последователи Марата и остатки эбертистов, был первым в истории опытом создания строго дисциплинированной, подпольной революционной партии. Для Ленина то был образец куда более поучительный, чем все рассуждения Ткачёва.

Завершитель мысли Робеспьера и предтеча Маркса, Бабёф учил, затем, что побежденный класс нужно уничтожить, так как он никогда не примирится со своим поражением. Ленин тоже был в этом убежден. Чрезвычайка, Красная армия и коммунистическая бюрократия были созданы во время гражданской войны главным образом именно для ликвидации враждебных классов.

Простодушный Бабёф признавался: «любовь к революции убила во мне всякую другую любовь и сдела-

ла меня жестоким, как дьявол». Ленин таких признаний не делал, но и его любовь к революции сделала, да еще гораздо больше, чем Бабёфа, жестоким, как дьявол.

В оправдание задуманного «равными» классового террора Буонаротти писал: «То было время, когда над обществом нависла опасность столь грозная, что народ имел право, не совершая тем никакой несправедливости, обрушиться на класс, которого он опасался... Думать, что можно, не прибегая к суровым мерам, привести к справедливости и равенству нацию, в которой многие усвоили себе привычки и преимущества, несовместимые с благоденствием и правами всех, — химера, хотя и соблазнительная... Разве древность вменила Ликургу в преступление смерть нескольких лакедемонских аристократов?... Революции — это неизбежные последствия продолжительных несправедливостей; они карают в одно мгновение преступления многих веков».

Осуществили большевики и другую идею Бабёфа, а именно, что верховная администрация должна иметь власть приговаривать к каторжным работам всех виновных в антисоциальном поведении и всех тунеядцев. Бабёф предвидел даже устройство исправительно-трудовых колоний на островах. Острова Маргариты и Онорэ, Гиерские, Олерон и Рэ предполагалось превратить в места принудительного исправительного труда.

А вот и железный занавес. Космополиты-бабувисты настаивали на полной изоляции Франции. Они не видели тут противоречия. «Возрожденный» революцией народ нужно уберечь от «заразы пагубных примеров, способных подорвать нравы и любовь к равенству, сии залоги прав и счастья для всех». В случае победы «равные» собирались оградить Францию от соседей заставами и ощетиненными рогатками и впускать только «благодетелей народов, гонимых друзей

свободы», привлеченных желанием узнать французские учреждения, и людей, «уставших от рабства, которые придут с чистым сердцем искать в нашей республике равенство и счастье».

«Такая предосторожность в отношении иностранцев, — замечает Буонаротти, — была продиктована не духом недоброжелательной замкнутости, а желанием лучше оказывать услуги человечности и братства, обязательные для всех народов в отношениях друг с другом... Чтобы уготовляемый миру великий пример стал действенным, нужно было тщательно предотвратить все, что могло помешать его осуществлению, и, следовательно, удалять с французской земли толпы иностранцев, которых враждебные правительства не преминут засылать под флагом человеколюбия, а на самом деле с коварным намерением посеять раздор и создать мятежные оппозиционные группы. Совершенные отношения с другими нациями не смогут быть установлены, пока те не примут политические принципы Франции, до тех же пор в их нравах, учреждениях и особенно правительствах Франция будет видеть для себя лишь опасность».

Вместо того, чтобы выводить большевизм из русской истории, западным мудрецам было бы нехудо вспомнить Буонаротти, им стал бы тогда понятнее советский подход к Хельсинскому заключительному акту.

Среди участников заговора равных одни высказывались за диктатуру одного лица, другие за диктатуру нескольких «испытанных демократов». Сам Бабёф ставил в пример диктатуру Робеспьера, которая, по его мнению, была «дьявольски хорошо задумана». «Робеспьеризм и демократия, — учил Бабёф, — два однозначных слова. Робеспьер и есть партия, и даже весь народ, т.е. санкюлотрия». Бабёф признавал народом только санкюлотов.

Верил в спасительность диктатуры наиболее добродетельного человека и Буонаротти. Так же, как Робеспьер, он считал, что сам народ, пока он не будет просвещён, не способен выразить свою волю: «Опыт революции... достаточно показал, что народ, взгляды которого сложились при режиме неравенства и деспотизма, не очень-то способен в начале революции, которая несёт возрождение, избирать голосованием людей, предназначенных её направлять и осуществлять. Эта трудная задача не может быть выполнена никем, кроме как гражданами мудрыми и решительными, которые охвачены любовью к родине и человечеству, долго исследовали причины общественного зла... и видят счастье в том, чтобы стать бессмертными, обеспечив торжество равенства. Быть может, при рождении революции нужно, и это как раз из уважения к подлинному суверенитету народа, заботиться не столько о голосах на выборах, сколько о том, чтобы власть попала в руки мудро и крепко революционные».

Правда, бабувисты предусматривали, что «после уничтожения тирании» народ изберет Национальное Собрание, облечённое высшей властью, но тут они делали важную оговорку: даже и после того, как революция будет совершена, Тайная Директория заговорщиков не прекратит свои труды и будет надзирать за поведением нового Собрания.

Ленин пошел дальше. Став диктатором и окружив себя гражданами вряд ли мудрыми, но решительными, он просто разогнал всенародно избранное Учредительное Собрание.

Собирались бабувисты учредить и свой Главлит: всякое сочинение печатается и распространяется, только если блюстители национальной воли решат, что его обнародование будет полезно республике.

Была предусмотрена даже знаменитая ленинская кухарка: как только установится подлинное равенст-

во, «множественность и противоречивость интересов окажутся уничтоженными, и искусство управлять общественными делами быстро станет доступно каждому». Тут и кухарка, и зачаток идеи, что при коммунизме антагонистических противоречий больше не будет.

Приведенных примеров, думаю, достаточно. Сомнения нет: та же цель насильно переделать общество и человека, те же методы, та же программа действий, та же бешеная, холодная ненависть к «врагам народа», к враждебным классам, которые самим своим существованием мешают достижению великой цели и поэтому подлежат уничтожению. Якобинцы и большевики — люди одной страсти, одной «структуры», одной веры. Эта вера, с её мессианским вдохновением, беспощадной моралью и обетованием революционного апокалипсиса, пришла в Россию с Запада.

Мудрый Токвиль говорит: «Из XVIII века и революции вытекают две реки: одна вела людей к свободным учреждениям, другая к абсолютной власти».

Первая из этих двух рек вспоила политический либерализм: евангельское в своем происхождении утверждение прав человека, гражданских свобод, плюрализма, разделения властей, конституционного строя. Вторая донесла до наших дней ненависть якобинцев к либерализму. Продолжаясь в XIX веке, якобинская традиция способствовала в условиях промышленной революции произрастанию современных тоталитарных идеологий. Буонаротти передаёт революционерам романтической эпохи эстафету эгалитарного коммунизма. Огюст Бланки, Маркс и Энгельс, их наследники Ткачёв и Ленин, все одинаково учились революционной науке у Робеспьера, Сен-Жюста, Кутона и несчастного Бабёфа, все они питомцы одной и той же революционной среды, возникшей из-под второй реки Токвиля. Большевистская революция — начало её великого разлива.

Десятки лет, кажется, никто не сомневался в этом преемстве: 1793 год — Парижская коммуна — большевистская революция. Особенно левые не сомневались: даже гимн у большевиков — гимн Коммуны, «Интернационал» Эжена Потье. А Красная армия — ведь это же воскресшая армия Второго года революционного летосчисления и воскресшие коммунары. И враги у них те же: новый Кобленц, новый Версаль.

Сам Маркс перед смертью предвидел перемещение очага мировой революции на восток. Он даже изучал русский язык. А в 1902 году Карл Каутский, тогда еще не «ренегат Каутский», предсказывал: «Революционный центр передвигается с запада на восток. В первой половине XIX века он лежал во Франции, временами в Англии. В 1848 году и Германия вступила в ряды революционных наций... Новое столетие начинается такими событиями, которые наводят на мысль, что мы идём навстречу дальнейшему его передвижению в Россию... Россия, воспринявшая столько революционной инициативы с Запада, теперь, быть может, сама готова послужить для него источником революционной энергии...»

Октябрьская революция потому-то и была встречена западными левыми с таким ликованием: они видели в ней продолжение 1793 года и Парижской коммуны, всех вообще европейских революций. А ведь, казалось бы, понимание, что большевики — наследники якобинцев, должно было Запад испугать. Все-таки столько крови было пролито! А вот поди же, как раз сходство большевистской революции с якобинской убеждало западных левых в ее правде и величии. Да что там левых! Во Франции даже такая буржуазная партия, как радикал-социалисты, гордились своим якобинством. Память о терроре мало кого смущала. Ведь он был, знаете, необходим для спасения

революции, так и большевистский террор. Анри Барбюс писал: «Тот, кто принимает цель, принимает и средства, необходимые для ее достижения. Сегодня насилие — реальность справедливости». Другой французский писатель, Пьер Куртад, в недавно вышедшей книге «Красная площадь» признается, что долго верил в виновность Бухарина, Зиновьева, Тухачевского и других осужденных на больших московских процессах, так как помнил об измене Мирабо, Дантона и Дюмурье. Убеждение, что большевистский террор оправдан необходимостью спасать священную социалистическую революцию, объясняет, почему Запад так долго не хотел слушать об Архипелаге ГУЛаг, не хотел верить, что он так бесчеловечен, так огромен, так ужасен. Пьер Дэкс, с тех пор, к его чести, прозревший, еще в 1949 году прославлял советские «исправительно-трудовые колонии» как одно из величайших достижений социализма.

Только после Будапешта, Праги и солженицынского «Архипелага ГУЛаг» стало больше невозможно скрывать правду. Тогда-то и была пущена в ход, впрочем, не новая уже, теория, что во всём виновата русская история и что поэтому судить марксизм по советскому опыту нельзя. У нас, мол, с нашими вековыми демократическими традициями коммунизм будет совсем другой, чем в отсталой полуазиатской России. Большевикам пришлось бороться с варварством варварскими средствами. И это Запад военными интервенциями, а потом «санитарным кордоном» довёл их до крайности. Да и территория такая огромная, централизованное планирование не могло дать должных волшебных результатов. Другое дело государства меньших размеров, вот где проявится всё превосходство планового хозяйства перед рыночным! И к тому же только теперь в наиболее промышленно-развитых странах Запада сложились, наконец, условия, необхо-

димые, по Марксу, для успешной социалистической революции.

Всего, что придумывают, дабы убедить самих себя, будто архипелаг ГУЛаг чисто русское дело, а марксизм тут ни при чём, не перескажешь. Между тем, страны, где коммунизм у власти, нынче уже не пересчитать по пальцам. Эти страны находились на разных ступенях экономического и политического развития. История их другая, чем история России. Их население другой крови, и все культурные и национальные традиции другие. И что же, в них во всех установилась сталинская модель социализма. Скажут: это советский экспорт при помощи танков. Но в Югославии, в Чехословакии, в Китае, во Вьетнаме, на Кубе и в некоторых других странах коммунистическая диктатура не была навязана Советским Союзом, а победила местными, национальными силами. Тем не менее, во всех эти странах, даже там, где не любят Кремль, царит сталинская модель!

Сторонники объяснять архипелаг ГУЛаг «спецификой» русской истории не замечают, что рядом с марксистско-ленинской моделью тоталитаризма выросла похожая на неё, как близнец, национал-социалистическая модель. Правда, выкрашенная не в красный, а в коричневый цвет, но совсем такая же. А ведь Германия до войны 1914 года — не чета отсталой варварской России: по социальному законодательству, по динамизму промышленного развития, по демократичности учреждений, по влиянию социал-демократии — первая в мире. А вот кончилось тем же.

Обвинения, предъявленные в 1946 году в Нюрнберге гитлеровскому режиму, могут быть полностью предъявлены и большевистскому:

«Для того, чтобы обеспечить свою власть от всяких покушений... нацистские заговорщики создали и расширили систему террора против своих противников

и предполагаемых или подозреваемых противников нацистского режима. Они сажали в тюрьмы этих людей без суда, держали их в так называемом «предварительном заключении» и в концентрационных лагерях и подвергали их преследованиям, унижениям, ограблению, рабству и смерти...

Для того, чтобы достигнуть своих целей и задач, нацистские заговорщики подготовили захват тотального контроля над Германией...

После поджога Рейхстага 28 февраля 1933 года, те пункты Веймарской конституции, которые гарантировали свободы личности, слова, печати, собраний и союзов, были отменены...

Нацистские заговорщики уничтожили свободные профессиональные союзы в Германии, путем конфискации их средств и собственности, преследуя их руководителей, запретив их деятельность и заменив их примыкающей к нацистской партии организацией... таким образом, любое потенциальное сопротивление рабочих оказывалось тщетным и производительность труда германской нации была, фактически, поставлена под контроль заговорщиков...

Нацистские заговорщики, путем доктрины и практики, несовместимых с христианским учением, пытались ликвидировать влияние церкви на народ и, в особенности, на молодежь Германии.

Нацистские заговорщики резко ограничили независимость суда и сделали его послушным орудием нацистских целей...

Нацистские заговорщики запретили все политические партии за исключением нацистской партии. Они сделали нацистскую партию правящей организацией с обширными и чрезвычайными полномочиями...

Нацистские заговорщики низвели Рейхстаг на положение органа, состоящего из их ставленников... со-

здали сеть новых государственных и партийных организаций и "координировали" государственные учреждения с нацистской партией и её отделами».

Заменить в этом обвинительном заключении слова «нацистские заговорщики» словами «большевистские заговорщики» — и перед нами точное описание большевистской революции. Сходство анатомии нацистской и большевистской революций поразительно. По существу, это только два варианта одной и той же тоталитарной революции XX века, вернее, антидемократической контрреволюции и стихийного восстановления в современных условиях тоталитарных структур древних империй и первобытных кланов. Как могло это случиться? Почему и в России, и в Германии демократия так легко рухнула, в Германии чуть ли не по всенародному голосованию? Вот вопрос...

Международный военный трибунал в Нюрнберге не повторил ошибку Версаля. Он возложил ответственность за преступления гитлеровского режима не на немецкий народ, а на ближайших сподвижников Гитлера. Вот урок охотникам объяснять преступления гитлеровского режима национальным характером немцев, а преступления большевистского режима национальным характером русских. Такие разговоры только мешают исследованию. Во-первых, каждый определяет характер данного народа пристрастно, в зависимости от того, любит ли он его или нет. Перефразируя одного средневекового автора: у национального характера нос из воска, каждый перелепливает его по-своему, и поворачивает в какую хочет сторону. Во-вторых, национальные черты немцев и русских в течение многих веков менялись, но всегда оставались несходными, во многом даже противоположными. И вся история немцев и русских была другая, и политический и социальный строй другой, и кровь другая, и обычаи и традиции другие, а вот пришли к тому

же. Уж одно это должно было бы заставить задуматься. Значит, дело не в особенностях немецкой и русской истории, а в чем-то другом. Лишнее тому доказательство: в странах так называемого третьего мира, под разными небесами, на разных концах земли, среди народов с разной историей и кожей разного цвета, возникают тоталитарные режимы, одинаково похожие и на гитлеровский, и на марксистско-ленинский. Поскольку национал-социализм был побежден, преобладает всё же модель марксистско-ленинская. Она была описана бессчётное количество раз, скучно даже повторять: централизованное планирование хозяйства, национализация всех средств производства, всей торговли, всех видов социального обслуживания, тоталитарное государство на службе марксистской идеологии, диктатура компартии — единственной партии, а там, где сохранились остатки других партий, она партия-гегемон, её власть безгранична. Монолитная, строго дисциплинированная, она правит от имени пролетариата и ей всё подвластно: все государственные и административные органы, все массовые организации, вооружённые силы, полиция и весь народ: колхозники, рабочие, интеллигенция, техники, учёные. Её возглавляет или местный Сталин, или коллективное руководство, пополняемое путём кооптации. Сталин, а там, где Сталина нет, Политбюро, принимает от имени партии все решения, и эти решения беспрекословно исполняются. Сталин всегда прав: опираясь на мощный полицейский аппарат, он может уничтожить всех несогласных.

Если всюду, даже там, где прежде были демократические традиции, с приходом к власти коммунистов и этатизацией хозяйства устанавливается сталинская модель, то следует задать себе вопрос: а что если марксизм тут всё-таки причём, тогда и эта модель вовсе не искажение, а неизбежная, первоначальная

стадия построения марксистского социализма? и может быть даже окончательная стадия, ведь обещанная следующая — отмирание государства, каждому по потребности, скачок в царство свободы — так до сих пор и не наступила.

Но сторонники теории, что во всём виноват не марксизм, а русская история, никогда такого вопроса себе не задают. Нельзя, говорят они, осуждать великое мировое учение, надежду человечества только потому, что в варварской России оно привело к сталинщине. «Верующие, — замечает Раймон Арон, — всегда найдут доводы не отказываться от своей веры. Они не хотят признать, что предсказания марксизма опровергнуты и всем последующим развитием капитализма, и кошмарным опытом так называемых социалистических стран. И они не спрашивают себя, почему, собственно, коллективная собственнось окажется несравнимо более эффективной, чем частная, и каким образом, по мановению какой волшебной палочки, можно будет сочетать централизованное планирование с личными свободами и демократией?.. А главное, они ни за что не хотят признать, что марксизм, соединяя беспощадную критику либерального общества с пророчеством социалистической утопии, всегда и при всех условиях неизменно приводит к тоталитаризму».

И действительно, опыт многих стран свидетельствует, что диктатура компартии, независимо от обстоятельств места и времени, ведёт к тоталитаризму. Так что и без татарского ига, опричнины, охранки и Ткачёва власть коммунистов в России была бы такой же. Выходит, неверно говорить, будто бы Ленин исказил Маркса, и так же неверно подкидывать ему какую-то особую русскую ткачевскую революционную традицию. Думать, что Советский Союз — всё та же царская Россия, только фасад перекрасили, — вред-

ное и опасное заблуждение. Это несопоставимые исторические явления, разного измерения, определённые разными генотипами. Нежелание Запада это понять может привести к трагическим и непоправимым последствиям. Надежда: у нас коммунизм будет другой, не сталинский, а либеральный, демократический, у нас другая история — надежда обманная, коммунизм бывает только сталинский, ленинский, брежневский.

Алексис де Токвиль, которого я уже упомянул, говорил: все предыдущие социальные и политические революции не выходили за пределы стран, где они совершались, французская же революция стремилась стать всемирной и стереть национальные границы с карты земного шара. Она объединяла или разделяла людей во всём мире, независимо от их национальных традиций, темперамента, законов, языка.

Токвиль считал поэтому, что французская революция была по-своему вдохновлена своего рода религией, такой же универсальной, как христианство или ислам, и подобно исламу распространялась по всему миру проповедью своих апостолов и мучеников и мечом своих воинов. «Она хотела определить права и обязанности не только французов, но всех людей на земле, хотела изменить не только общественный строй Франции, но возродить весь человеческий род».

С ещё большим основанием всё это можно повторить о большевистской марксистской революции. Так же, как якобинская, она тоже своего рода религия, да, в сущности, она та же самая революция-религия, новый её передвинувшийся на восток эпицентр. Если об этом не помнить, в ней ничего не понять. Тут главная ошибка исторической школы, которая непременно хочет видеть в Советском Союзе всё ту же царскую Россию. В сборнике «Самосознание», вышедшем по-русски в 1976 году в Нью-Йорке, была напечатана очень типичная для этой школы статья американского

советолога Ричарда Пайпса. По поводу мер, принятых против террористов в конце царствования Александра II, он пишет: «Можно с уверенностью утверждать, что корни современного тоталитаризма следует искать скорее здесь, чем в идеях Руссо, Гегеля или Маркса. Ибо, хотя идеи безусловно могут породить новые идеи, они приводят к организационным переменам, лишь если падут на почву, готовую их принять».

Вспомни этот учёный эксперт историю религии и Токвиля, он увидел бы, что с гораздо большей уверенностью можно утверждать как раз прямо противоположное: идеи создают почву, готовую их принять. Христианство, ислам и все вселенские религии распространялись среди народов самых разных по крови и цивилизации, совершенно преображая жизнь этих народов, независимо от того, были они или не были готовы их принять. Так распространяется и марксова вера. В России почва для её приятия была подготовлена, во всяком случае, не больше, чем в любой другой стране иудео-христианской цивилизации. По выражению Раймона Арона, марксизм обещает приход на нашу землю «другого света». Именно в этом профетизме марксизма объяснение, почему, несмотря на архипелаг ГУЛаг и все опровержения разума и опыта, марксистская религия продолжает распространяться даже в западных странах.

Как мы видели, марксистско-ленинская революция была продолжением и углублением якобинской, а она, с её мессианизмом, беспощадной моралью и обетованием преображения общества, была продолжением всей мессианской европейской революции, которая подымалась уже в Средние века в движениях эгалитарного хилиазма и бурлила в апокалиптических сектах, игравших такую важную роль в английской революции. Одержимые духом фанатизма, мести и подозрительности, эти секты и движения были террористичес-

кими по самой своей природе. Они верили, что для прихода Нового Иерусалима, нового братского справедливого царства, предварительно нужно разрушить существующее демоническое общество и перебить всех его нечестивых слуг, все его правящие классы.

К этим сектам я вернусь в последней главе, но прежде ещё несколько возражений против теории, будто бы Советский Союз — только новое обличье царской России.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ТАТАРСКОЕ ИГО И ВЕЛИКИЙ ИНКВИЗИТОР

Глубоко почитая и любя Н. А. Бердяева за светлое и благородное вдохновение его мысли и за то, что он сказал, что человеческая личность не может быть средством даже для Бога, я всё же не могу принять по совести некоторые другие его утверждения, по-моему, неверные и опасные. Таких утверждений особенно много в его знаменитой книге «Истоки и смысл русского коммунизма», которая вышла в 1937 году по-английски, а затем и на многих других языках:

«Русская революция порождена своеобразием русского исторического процесса и единственностью русской интеллигенции. Нигде больше такой революции не будет. Коммунизм на Западе есть другого рода явление... Произошла русификация и ориентализация марксизма... Они (большевики) создали полицейское государство, по способам управления очень похожее на старое русское государство».

Всё это Бердяев утверждает как самоочевидные истины, не приводя никаких доказательств. Тем не менее, все эти утверждения стали готовыми идеями, повторяются на тысячи ладов.

И никто не замечает, вернее, не хочет замечать, что сам Бердяев — как человек правдивый — тут же косвенно опровергает это свое утверждение, будто бы большевистское государство по способам управления так похоже на прежнее царское. Он пишет: «Русское Царство XIX века было противоречивым и нездоро-

вым, в нём был гнёт и несправедливость, но психологически и морально это не было буржуазное царство, и оно противопоставляло себя буржуазным царствам Запада. В этом своеобразном царстве политический деспотизм соединялся с большой свободой и широтой жизни, свободой быта, нравов, с отсутствием перегородок и давящего нормативизма законничества».

Что же выходит? Те же способы управления, что при большевиках, такой же деспотизм, а свобода и широта жизни и никакого давящего нормативизма. Ведь при большевиках-то всё как раз наоборот: никакой свободы и вся жизнь по указке, и поведение, и мысли, и чувства. Ясно, тут что-то не так.

Непостижимо, как сам Бердяев этого не чувствовал: ведь если при большевиках всё так изменилось, стало прямо противоположным тому, чем была прежняя русская жизнь, о которой он знал по собственному опыту, то как же говорить тогда, что большевистское царство — все та же прежняя царская Россия, как не видеть, что в октябре 17-го года произошел глубокий разрыв, обвал, погибла русская Атлантида.

Не буду судить о русской жизни до большевиков по моим детским воспоминаниям. Но вот для одной работы мне пришлось просматривать подшивку советских газет и русских газет царского времени. И что же, каждый раз, беря после «Правды» сытинское «Русское Слово», я испытывал чувство, что совершаю знаменитый прыжок из царства необходимости в царство свободы в прошлом. Утверждаю, если в «Правде» начнут появляться статьи, какие гремели в «Русском Слове» всеми громами гневных обличений правительства, и в Верховном Совете раздадутся речи, какие произносили в Думе Церетели, кадеты и члены фракции большевиков, вот тогда Советский Союз действительно начнет походить на Россию перед войной 1914

года, и мы, эмигранты всех толков, сможем без страха в Россию вернуться.

Чтобы не быть голословным, приведу для примера выдержку из стенографического отчета думского заседания 6 марта 1907-го года:

«ЦЕРЕТЕЛИ (Кутаисская губ.)... только при непосредственной поддержке народа можно остановить дикий разгул насильников, опустошающих страну. Вы помните, граждане народные представители, как десять месяцев тому назад депутат Набоков с высоты думской трибуны, опираясь на несомненное право, обратился к правительству со словами: «исполнительная власть да подчинится власти законодательной». Два месяца спустя исполнительная власть, опираясь на штык, разогнала власть законодательную. Пока организованной силе правительства не противопоставлена сила народа, исполнительная власть не сдастся, не уйдет, не подчинится власти законодательной.

ПУРИШКЕВИЧ (Бессарабская губ.): Г. председатель, довольно, остановите оратора, тут призыв... (шум).

ГОЛОСА: Г. Председатель, послушайте...

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Г. оратор, прошу Вас не делать призыва к вооруженному восстанию.

ГР. БОБРИНСКИЙ (Тульская губ.): Г. председатель, позвольте мне заявить, что этот призыв делался несколько раз, и Вами не был остановлен.

ПУРИШКЕВИЧ (Бессарабская губ.): Г. председатель, мы не можем в этих стенах слушать призыва...

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я Вам слова не даю. Оратора не перебивайте. Только председатель может остановить оратора.

ГОЛОСА: ... Остановить... шум.

ЦЕРЕТЕЛИ (Кутаисская губ.): Да будет позволено мне в пояснение своих слов сказать... (Голоса: не желаем... не хотим). Да будет мне позволено сказать, что я не делал здесь призыва к вооруженному восста-

нию. Я наоборот доказывал, что к вооруженному восстанию призывает правительство, с которым мы боремся.

ГОЛОСА: ... Неправда.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Гг. члены Думы, не желающие слушать оратора благоволят покинуть зал заседания, но не прерывать оратора. (Аплодисменты)».

Повторяю, я не пассеист и вовсе не склонен представлять себе добольшевистскую Россию какими-то островами блаженных; история русского народа так же страшна, как история всякого другого народа, но только лунатики, завороженные слепой ненавистью, могут утверждать, что Россия, где в Думе в разгар революционного террора меньшевик Церетели мог произносить такие речи и председатель его не останавливал, была таким же архипелагом ГУЛаг, как Советский Союз. Тот же, кто не ослеплен, не может не видеть, что не будь катастрофы Первой мировой войны, Россия, несмотря на рецидивы реакции и безумство революционеров, вышла бы на столбовую европейскую дорогу капиталистического развития, либерализации.

Но вот Бердяев этого не видел, да он и не хотел для России либерального буржуазного пути. Что же тогда спрашивать с тех западных советологов, кому непременно нужно для оправдания марксизма доказать, будто во всем виновата русская история. Как в этом сомневаться, когда сами русские говорят, что коммунизм на Западе будет совсем другой и что Советский Союз — только новое обличье восточной деспотии, какой всегда было Московское государство, сложившееся под татарским владычеством. Причем же тут марксизм?

Они не понимают, что Советский Союз — историческое явление совсем другого рода, чем царская Россия, если бы даже в прежней русской истории и

в самом деле не было ничего, кроме Мамая, Ивана Грозного, охранки, Нечаева и Ткачёва.

Слава Богу, во Франции появились в последнее время так называемые новые философы, которые это поняли. Они решительно отказываются выводить архипелаг ГУЛаг из русского прошлого, как то делают болельщики марксизма и такие американские советологи, как Ричард Пайпс и Збигнев Бжежинский. Еще недавно эти новые философы пришли к прямо противоположному выводу: сталинщина — прямое следствие марксистских предпосылок, а русская история тут ни при чем, и отец архипелага ГУЛаг не император Александр II, а Карл Маркс.

В интервью французскому еженедельнику «Экспресс» первый из этих новых философов, Андре Глюксман, сказал: «Москва — столица восточного деспотизма? Помилуйте, она вершина западного деспотизма, передовой клин Запада».

В книге «Кухарка и людоед» Глюксман пишет: «Марксизм был так же необходим для создания архипелага ГУЛаг, как нацизм — для создания Бухенвальда и Аушвица». И Глюксман удивляется: почему никто никогда не сомневался в ответственности нацизма за концлагеря Третьего Рейха, а вот ответственность марксизма за советские концлагеря почему-то упорно не хотят признать и все твердят, что Сталин просто неправильно прочел Маркса и во всем виновата русская азиатская отсталость.

Сходные мысли высказывает и Бернар-Анри Леви в нашумевшей книге «Варварство с человеческим лицом»: «Советские лагеря в такой же мере марксистские, в какой Аушвиц был нацистским... ГУЛаг не ошибка, не случайная язва на боку пролетарского государства, а одно из прямых последствий марксова «Капитала».

Французские «новые философы» увидели то, чего

не хотят видеть завороженные предвзятостью американские советологи: современное тоталитарное государство не сводимо к особенностям истории России или Германии, оно небывалое, неслыханное явление и, может быть, «образ будущего».

Леви утверждает: «Гитлер не умер в Берлине, он выиграл войну. В каменной ночи, в какую он вверг Европу, он победил своих победителей. И Сталин не умер в Москве, не умер и на XX съезде. Он тут, среди нас. Подпольный пассажир Истории, он неотступно в ней присутствует и сгибает ее по своему безумному произволению... сталинщина и фашизм вовсе не случайные заблуждения, как этому долго хотело верить наше беспамятство, а планетарные перегонные кубы, где вот уже полвека испробуются новые формы власти... Гитлер и Сталин вовсе не шуты гороховые, а подлинные философы чудовищной политической мутации, какой Запад, быть может, никогда еще не знал с самого начала своего упадка».

Успех книг и выступлений «новых философов» несомненен, и это не поверхностный успех очередной парижской интеллектуальной моды, как уверяют критики-марксисты, а явление более глубокое: начало, пусть еще и неясное, нового дня.

Медленный, трудный рассвет. Бернар-Анри Леви предупреждает: «Кризис марксизма совершился только в наших головах и в наших книгах. Несмотря на свой интеллектуальный упадок, марксизм проникает все пласты, все поры гражданского и политического общества».

И действительно, если голоса «новых философов» свидетельствуют об отходе части французской левой интеллигенции от марксизма, то какими громами обрушились на молодых отступников присяжные марксисты всех толков. Удивляться тому не приходится. Люди всю жизнь отдали марксистской схоластике, и

вдруг какие-то мальчишки им говорят, что научный социализм ведет на деле не в царство свободы и счастья, а к архипелагу ГУЛаг.

Показательно для наших дней, что в травле «новых философов» участвуют и священники-коммунисты, и движение христиан за социализм. Эти странные христиане принимают все экономические и политические анализы коммунистов. Они верят, что только коммунизм освободит человечество из тюрьмы капитализма и что только участием в классовой борьбе, насильственной, революционной и кровавой, христианину открывается «присутствие Воскресения Христова, Пасха свободы и жизнь в Духе».

И, конечно, новые философы не поколебали представителей господствующей, особенно в Америке, школы советологов, которые доказывают преемственную связь советского строя с царской Россией, которая, дескать, со времен татарского владычества всегда была восточной деспотией. Ученым этим советологам, ослепленным враждой ко всякой России, не приходит в голову, что сталинщина и фашизм «планетарные перегонные кубы, где вот уже полвека испробуются новые формы власти». Непонимание это объясняет постоянные ошибки Запада в отношениях с коммунистическими странами. Грозную опасность распространения марксизма-ленинизма от края до края земли эта западная школа советологии объясняет будто бы унаследованным русскими от монголов стремлением к мировой империи. Как в этом сомневаться? Почитайте Маркса, говорят они.

«Не в суровом героизме норманской эпохи, а в кровавой трясине монгольского рабства зародилась Московия, и современная Россия является не чем иным, как преобразованной Московией... монгольское рабство было той ужасной и гнусной школой, в которой сложилась и возвысилась Москва. Она добилась своего

могущества лишь благодаря тому, что достигла виртуозности в искусстве раболепствовать. Даже после своего освобождения от монгольского ига, Москва, даже под личиной хозяина, господина, продолжала играть свою традиционную роль раба. И, в конце концов, Петр Великий сочетал политическое искусство монгольского раба с гордым честолюбием монгольского повелителя, которому Чингис-хан завещал миссию завоевания мира...»

Так вот, в октябре 1917 года эта обруселая татарская государственная традиция соединилась с особой русской, отнюдь не марксистской, а «ткачевской» революционной традицией. Отсюда и пошел и стал и есть архипелаг ГУЛаг.

Самое удивительное: русские историки-евразийцы, а они-то, в отличие от Маркса, Россию любили, так же, как он, думали, что татарское иго было школой, в которой возвысилась Москва, только в их представлении это была хорошая школа: «Без татарщины не было бы России»; «Свержение татарского ига» (заметьте иронические кавычки) свелось к замене татарского хана православным царем и к перенесению ханской ставки в Москву; произошло чудо превращения татаро-монгольской империи в русскую, чудо обрусения и оправославливания татарщины; прими монгольские ханы, потомки Джучи, православие, и не Москва, а Сарай оказался бы духовным и культурным центром русской земли. Значение золотоордынской державы в русской истории не меньше значения империи Карла Великого в истории европейской.

Правда, в отличие от марксистов, евразийцы правильно считали большевистский режим не видоизмененной Московией, а одним из последствий европеизации. И все же «под лавой коммунизма они вскрыли фундаменты русской народности». Большевистская революция осуществила, дескать, многие начала русско-

го народного права, и большевистские законодательные памятники ближе к правосознанию русского народа, чем законодательство Империи. Как многие тогда эмигранты, евразийцы верили: революционный кризис приведет к «выпрямлению русской исторической линии», и большевики, вопреки своей воле, творят национальное дело. Надо только оправославить выдвинутый революцией новый правящий слой, и все будет хорошо.

Евразийцы идеализировали мировую Империю Чингис-хана, основанную, по их мнению, на справедливости и равенстве. Каждый должен работать столько же, сколько сосед. Богатые и бедные, каждый по способностям, служат государству, и бедный защищен от несправедливых притеснений богатого. Евразийцев не смущало, что у древних монголов были рабы, в рабство обращали военнопленных и целые побежденные роды. Были и крепостные. И если до избрания Тэмуджина ханом всех монголов еще и встречались монгольские роды, которые не знали «ни больших, ни малых, ни плохих, ни хороших, ни голов, ни ног», то в военно-административной Империи Чингис-хана если и было равенство, то только в том, что и нукеры, и багатуры, и нойоны, и простые араты, и рабы, и русские князья все одинаково считались холопами Великого Хана и были обязаны ему рабским повиновением. «Сын Бога» и самодержец, «умножаемый в моцци своей небом и землей», он господин их жизни и смерти и хозяин всей земли, вся необъятная империя — его вотчина.

Карл Маркс внимательно читал рассказ французского путешественника Франсуа Бернье, врача при дворе Великого хана Ауренгзеба. Согласно Бернье, вся земля принадлежала императору, кроме домов и небольших приусадебных участков, которыми он позволял своим подданным располагать по их усмотре-

нию. Но, как правило, не было «ни моего, ни твоего», и не было «ни больших сеньоров, ни парламентов, ни административных трибуналов, как у нас». По наблюдению Бернье, такой порядок вел к упадку земледелия и коневодства и к обнищанию крестьян и государства.

Но это была уже вторая половина XVII века, и хотя основатель монгольской империи, правнук Тимура Бабур, считал себя потомком Чингис-хана, Великие ханы, которые сами именовали себя по-ирански шах-иншахами, в сущности больше уже не были монголами.

Не скрою, я ни в какой мере не разделяю евразийского восхищения эффективностью правительственной, военной и финансовой организации монгольской империи. Темное владычество татар, я думаю, было величайшим бедствием для России. Оно уничтожило демократические вечевые начала общественного строя русских княжеств и на много веков затормозило развитие России, оторвав ее от того процесса обновления культуры, который сквозь века позднего средневековья привел на Западе к расцвету Возрождения. Пушкин отмечает: «внутренняя жизнь порабощенного народа не развивалась Татаре не походили на мавров. Они, завоевав Россию, не подарили ей ни алгебры, ни Аристотеля».

Века татарского господства остались в памяти народа, как лютые, тошные времена. «О, злее зла честь татарская». Поколения русских людей прожили в постоянном страхе. С. Г. Пушкарев пишет, что татарское владычество и необходимость кланяться чуждой власти оказали вредное влияние на характер русского человека. По мнению некоторых других историков, изменился даже его внешний облик. «У русских со времен татарского ига, — уверял знаменитый шведский историк Карл Гримберг, — редкая, как у монголов, борода». Это, мягко говоря, преувеличение.

«Повесть о разорении Батыем Рязани» дает представление, чем было татарское нашествие: «И взяша град Резань месяца декабря в 21 день. И приидоша в церковь соборную Пресвятые Богородицы, и великую княгиню Агрипену, матерь великого князя, с снохами и с прочими княгинями мечи исекоша, а епископа и священнический чин огню предаша, во святей церкви пожегоша, а инеи мнози от оружия падоша, а во граде многих людей, и жены, и дети мечи исекоша, и весь град пожгоша, и все узорчие нарочитое, богатство резанское и сродники их киевское и черниговское поймаша, а храмы божия разориша, и во всех святых олтарех много крови пролияше. И не оста во граде ни един живых, вси равно умроша и едину чашу смертную пиша; несть бо ту ни стонюща, ни плачуща и ни отцу и матери о чадех или чадом о отци и о матери, ни брату о брате, ни ближнему роду, но вси вкупе мертвые лежаща».

Разорив Рязанскую землю, Батый «пойде на град Суздаль и Владимерь». Все города Суздальской земли и всей северо-восточной, а затем и юго-западной Руси постигла та же страшная участь, что и Рязань. Император Фридрих II писал о разорении татарами Киева: «Тогда во время внезапных набегов и нападений этого варварского народа, который обрушился словно гнев Божий и молния, был завоеван и взят самый значительный из городов этого княжества Киев; все это преславное княжество целиком по истреблении его жителей пришло в запустение, будучи разорено».

Покорив русские земли, полчища Батыя, разоряя города и губя население, обрушились на Польшу, Чехию, Венгрию, Моравию, Словакию, Хорватию, Боснию, Сербию, Болгарию, Валахию, Молдавию. Вести об ужасах татаро-монгольского нашествия потрясли Запад. Английский летописец Матвей Парижский писал о монголах: «Бесчеловечные, звероподобные су-

щества. Их не назовешь людьми, они скорее чудовища, они жаждут крови и пьют ее, ищут и пожирают собачье и даже человеческое мясо». Германия молилась: «Господи, сохрани нас от ярости татарской».

Но Батый внезапно повернул обратно. Запад спасен, начинает оправляться от потрясения. А когда в 1248 году монгольский воевода Алжигидай, наступавший на Багдадский халифат, прислал Людовику Святому двух христиан-несториан, с предложением союза против сарацин и с уверениями, что Великий Хан очень благоволит христианам, французский король, папа, монахи и крестоносцы решают: татары готовы обратиться в христианство, тайно уже обратились. В союзе с ними мы победим ислам.

И действительно, к началу XIII века среди монголов и покоренных Чингис-ханом кочевников было много христиан. Но только это были все несториане, отъявленные еретики. А некоторые ханы окружали себя православными из Сирии, из Византии, Осетии, Руси.

Надежда на обращение монголов и на помогу против сарацин не умирала на Западе до конца XIII века, Папа Иннокентий IV и Людовик Святой шлют ко двору Великого Хана посланников и проповедников. Терпя, как заповедали апостолы, холод и голод, францисканские монахи пересекают огромные неведомые пространства, где «единственными признаками человека были мертвые кости и мертвые города». Все кончилось разочарованием. Запад и монголы не понимали друг друга. Но Марко Поло уверяет: пошли папа более искусных проповедников, Великий Хан Хубилай обратился бы. «Повелитель монголов очень хотел стать христианином». Впрочем, по свидетельству того же Марко Поло, Хубилай не меньше, чем Христа, чтил Магомета, Моисея и Сакья-Муни и требовал от священнослужителей всех четырех религий, чтобы они

ему кадили. Знаком он был и с учением Конфуция. Его уже в молодости прозвали «Хубилай Мудрый».

Монголы, по началу более или менее шаманисты, отличались полной веротерпимостью. В монгольской империи мирно сосуществовали буддисты, таоисты, конфуциане, мусульмане, манихеи, евреи и христиане разных исповеданий и толков. Сам Чингис-хан склонялся к таоизму. Он надеялся получить от священнослужителей Тао напиток бессмертия. Но многие его воеводы и воины и даже некоторые домашние были христианами-несторианцами. При его наследниках они занимают при дворе господствующее положение. Внук Чингис-хана Великий Хан Могка, сын несторианской принцессы, говорил французскому посланцу, францисканцу Вильгельму Рубруку: «мы, монголы, верим в единого Бога. Но подобно тому, как Господь Бог дал нам пять пальцев на руке, Он дал людям и разные к Нему пути». Могка сказал еще, что исповедует все религии, допущенные при дворе. Другой монгольский хан полагал, что до тех пор, пока не будет полной уверенности, какая религия самая истинная, благоразумнее всего исповедовать их все одновременно.

Такая же веротерпимость при дворе золотоордынских ханов. В Сарае существовала русская православная кафедра. По некоторым сведениям, Сартак, сын Батыя, был православным. «Лучший период в истории русской церкви, — пишет Бердяев, — был период татарского ига, когда она была духовно независима».

Преследуемые на Западе еретики бегут в монгольские пределы и находят там убежище и религиозную свободу.

Свобода совести — вот главное, что поразило доминиканских и францисканских монахов в империи Великого Хана. Удивление это осталось на много веков. В «Руководстве для инквизиторов», составленном в 1376 году в Авиньоне доминиканцем Николаем Эй-

меричем, мы находим описание заблуждений татар: «Определить ошибки и ереси татар дело нелегкое, эти люди *не единодушны в их верованиях.* (Курсив мой. — В. В.). Одни из них веруют и живут, как сарацины. Но далеко не все они присоединились к исламу... среди них много разных согласий. Иные поклоняются луне, иные первому животному, которое увидят, встав поутру, будь то собака, кошка, осел или человек, не имеет значения... некоторые татары, пленники на чужой стороне, вешаются или еще как-нибудь по-другому кончают самоубийством, убежденные, что так они вернутся на родину. Другие сжигают себя перед всеми своими сородичами. Они верят: они вознесутся в пламени в область блаженных».

Два века спустя, в Риме, в 1578 году, доктор канонического права Франциско Пенья по заданию папы пересмотрел руководство, составленное Эймеричем, и дополнил описание обычаев и верований татар. «Татары — это «соарматы» греков или «соарматы» римлян; некоторые обозначают их именем «антропофаги». Они кочевники, у них нет городов, и нравы самые мерзостные: они не употребляют ни скатертей, ни ширинок, никогда не моют ни рук, ни тела, ни одежды. Они не едят ни хлеба, ни овощей, но питаются мясом разных животных: собак, кошек и больших крыс. Обитаемые духом мести и кичась своей силой, они на войне часто поджаривают тела убитых врагов... Страшные в бою, они сосут и глотают кровь своих жертв... Они не знают милосердия Божия и *каждый из них выкраивает себе Бога на свой образец*». (Курсив мой. — В. В.).

Всего преждеупомянутого, думается, достаточно: монгольская империя была какой угодно восточной деспотией, но не тоталитарным государством в современном смысле слова. Мы видели, как посланцев Запада поражали в ней «невероятные», с их точки зре-

ния, отношения между разными религиями — полная свобода совести. Из татарского ига, таким образом, никак не вывести то главное, что делает коммунистическое государство тоталитарным. Татаро-монголы не знали никакой общеобязательной государственной религии, а ведь марксизм-ленинизм как раз безбожная разновидность такой религии, требующей беспощадной борьбы с малейшими отклонениями от установленных ею догматов.

Ничего подобного в монгольской империи не было. Значит, ни на чем не основана вся эта теория, будто бы советское коммунистическое государство — не плод марксизма, а всё та же Московия, которая, де, сама была только обруселой татарщиной.

Глубокое удивление францисканских и доминиканских монахов при виде религиозного плюрализма в столицах монгольских ханов подсказывает опровержение еще и другого довода, обычно приводимого в доказательство, что марксизм не виноват в ГУЛаге. Довод этот такой: инквизиция не была прямым следствием веры в Бога, и Христос не несёт за неё никакой ответственности. Так и Маркс не несёт никакой ответственности за архипелаг ГУЛаг.

Ответ, на первый взгляд, убедительный — так ослепительно неопровержима его первая часть: Христос не несёт никакой ответственности за инквизицию. Наоборот, инквизиция всегда против Христа. Без ссылки на Достоевского тут не обойтись, он бессмертно об этом написал. У него Великий инквизитор говорит Христу: «ибо если кто всех более заслужил костёр, то это Ты. Завтра сожгу Тебя».

Но всё это вовсе не значит, что по аналогии и Маркс не отвечает за ГУЛаг. Тут только формальная, по существу же мнимая, мошенническая аналогия. Заповеди Христа и костры инквизиции разделяет непереходимое, бездонное противоречие. А между марк-

сизмом и ГУЛагом — прямое генетическое преемство. Правда, проклятый архипелаг не похож на обещанную волшебную бабочку освобождения человека; однако, чудовище это всё же выползень из хризолиды марксизма.

Об этом начали догадываться «новые философы» во Франции. Бернар-Анри Леви пишет: «... В плоде марксизма нет червя, нет греха, содеянного потом; сам этот плод и есть червь и грех — это сам Маркс». Правда о христианстве прямо противоположна: инквизиция — это грех, содеянный потом, это червь в плоде христианства. Червь того же рода, что марксизм. Тут самое главное — марксизм обитаем духом, который неизбежно ведет к архипелагу ГУЛаг, и это тот же дух, что породил инквизицию. Вот почему я и привел два последних западных описания заблуждений татар.

Трагический парадокс западной цивилизации: она дала миру либеральное общество, основанное на евангельском в своих истоках утверждении прав и свободы человека, но этому обществу пришлось расти в напряженной борьбе с зачатыми в недрах той же цивилизации тоталитарными идеологиями. Эта борьба продолжается в наши дни смертельнее, чем когда-либо. От ее исхода зависит, быть или не быть свободе, быть или не быть всему, что придает человеческое значение нашей жизни.

Один из отцов инквизиции — папа Иннокентий III.

Уже святой Бернар сетовал: «Папский дворец гудит шумом законов, но это законы Юстиниана, а не Господа Бога». В XII веке в Болонье возрождается изучение римского права. Значение его в жизни церкви все возрастает. Иннокентий III сам прошел через Болонский университет. При нем новое каноническое право, разработанное на основе римского, становится орудием укрепления папской власти. Церковь,

все более монолитная, централизованная и авторитарная, опирается теперь на огромный бюрократический аппарат и все более проникается духом ересебоязни. Иннокентий III рвет со всеми творческими реформаторскими силами, под давлением которых в течение трех предыдущих веков в церкви производились постоянные преобразования. Он с беспокойством следит даже за деятельностью Франциска Ассизского и навязывает францисканцам конформистский устав. Церковь порывает с богословскими неопределенностями и поисками раннего средневековья и свободомыслием первых отцов. «Окончательно» истолкованное вероучение застывает в догматике.

По словам Владимира Соловьева, «истины веры превратились в обязательные догматы, т. е. в условные знаки церковного единства и послушания народа духовным властям. Постоянно напоминая о смертном грехе и пугая адскими муками, и утверждая, что только священник может отпустить грехи, Рим стремится привести верующих к полной духовной зависимости от духовенства. Но не только духовной: непогрешимая в вопросах веры, церковь должна стать всемогущей и требует слепого подчинения не только от народа, но и от всех владык земных. По убеждению Иннокентия III, церковь должна стать вселенским Верховным Судом. Сам Бог глаголет его, Иннокентия, устами, он исполнитель Божьей воли, наместник на земле не только апостола Петра, но и самого Христа, единственный истинный император, «царь царей», поставленный судить королей, князей и всех правителей. Суд его — суд Божий.

Совсем как в «Братьях Карамазовых», когда Великий инквизитор говорит Христу о дарах «страшного и умного духа»: «Мы взяли от него то, что ты с негодованием отверг, тот последний дар, который он предлагал Тебе, показав тебе все царства земные: мы

взяли от него Рим и меч кесаря и объявили лишь себя царями земными, царями едиными».

О герое своей поэмы Иван рассказывает: на закате дней своих он убеждается, что лишь ответы великого страшного духа могли бы хоть сколько-нибудь устроить в сносном порядке малосильных бунтовщиков, «недоделанные существа, созданные в насмешку».

Учредители исторической инквизиции, папы Иннокентий III и Григорий IX, тоже берут меч кесаря из жалости к людям, чтобы хоть сколько-нибудь сносно их устроить, чтобы спасти их от гибели. Только Иннокентий III в своем труде «О презрении к миру», написанном им, когда он был еще кардиналом, выражается страшнее. Он знает: человек — растленная грехом падаль, слабая, неустойчивая тварь. Его нужно смирять железной рукой. Если церковь не подчинит тотально людей своей власти, она ничего не сможет сделать для спасения тьмы грешников, обреченных на вечные муки.

На этом пути к тотальной власти Иннокентий III достиг немалого. Короли и принцы Португалии, Арагона, Венгрии, Сербии, Хорватии, Болгарии и других стран признали себя его вассалами. А главное, смирился и признал себя вассалом папы строптивый король Иоанн Безземельный.

Вдохновленный и финансированный Иннокентием III неудачный 4-й крестовый поход ознаменовался «победой», правда не над сарацинами, а над ненавистной греческой церковью. В 1204 году произошло событие, стыдливо названное «отклонение 4-го крестового похода»: латинские крестоносцы взяли приступом Константинополь. Завоевание сопровождалось чудовищным погромом. В течение нескольких дней паладины грабили несметные сокровища самого богатого в то время города: золотую и серебряную посуду,

драгоценности, меха, шелковые одежды. Мраморные статуи Лизиппа, Фидия и Праксителя разбивали на куски и бросали в море. Бронзовые расплавляли для отливки монеты. А монахи грабили иконы и мощи святых. Маршал Шампани Жоффруа де Вильдуа свидетельствует: «С тех пор, как был создан мир, никогда ни в одном городе не было захвачено столько добычи».

Крестоносцы не только грабили, но и убивали без разбора мужчин, женщин, детей. Византийский летописец Никитас Хонеатис замечает: «По сравнению с этими людьми с крестом на плече даже сарацины кажутся добрыми и милосердными».

Иннокентий III был предупрежден о готовящемся завоевании Византии, но эту резню все же не одобрил. Он обрушился на «крестоносцев» гневной грамотой. Однако в ней отмечалось, что прискорбное это событие свидетельствовало о том, что рука Божия покарала греков за отпадение от единственной истинной церкви. Другое дело манихеи катары. Тут у папы Иннокентия III никаких зазрений совести не было.

В «Братьях Карамазовых» Алеша говорит Ивану: «Великий инквизитор твой не верует в Бога, вот и весь его секрет!»

Об исторических инквизиторах такого не скажешь. Они верили в Бога и боялись Страшного суда, но они потеряли веру в евангельскую любовь и устрашились воздвигнутого Христом «свободного знамени». Папская инквизиция была зачата в тот день, когда Доминик Гусман, святой Доминик, отчаясь обратить катаров в истинную веру добром, решил в своем разгневанном сердце, что их души нужно спасти от вечной гибели насильно. В Пруй, потеряв терпение, он сказал собравшейся толпе: «Вы уже столько лет слышали от меня глаголы мира. Я просил, я умолял, я плакал. Но, как говорят в Испании в просторечии: куда не достигает благословение, туда повадится пал-

ка. Мы воздвигнем на вас принцев и прелатов; они призовут народы и племена, и великое множество погибнет от меча. Башни будут разрушены, стены повергнуты, и вас обратят в рабство. Так сила возобладает там, где кротость не могла добиться успеха».

Увы, не спасение душ еретиков стало главной заботой инквизиции. В «Руководстве для инквизиторов», которое я уже упоминал, об этом говорится с полной определенностью: «Нужно напомнить, что главная конечная цель судопроизводства и смертного приговора не в спасении души обвиняемого, а в том, чтобы обеспечить общественное благо и терроризовать население. Общественное благо должно быть поставлено намного выше всех милосердных соображений о благе индивида».

Уже и до альбигойской войны Рим поручал прелатам разыскивать еретиков и судить их в церковных трибуналах. Но епископская инквизиция оказалась бессильной против катаров. И вот, по призыву папы Иннокентия III, огромная рать баронов северной Франции и всякой наемной сволочи вторгается в беспечный Лангедок, чтобы исторгнуть ересь силой оружия. Тогда-то и грянул знаменитый клич, который приписывали то одному из вдохновителей похода аббату Арно-Амальрику, то самому папе: «Убивайте их всех, Бог распознает своих!» В июле 1209 года «крестоносцы», ворвавшись в славный город Безье, выполнили этот призыв буквально — они вырезали всех жителей поголовно: катаров, католиков, мужчин, детей, стариков и даже священнослужителей, служивших в полном облачении в церквах молебны о спасении.

Арно-Амальрик доносил Иннокентию III: «Наши не щадили ни пола, ни возраста, ни звания; около 20 тысяч человек они предали мечу. Ужасное смятение произошло между врагами, весь город разграблен и

сожжен. Чудесным образом истребил его карающий суд Божий».

Все, как когда четверть века спустя Батый взял Рязань: такой же яростный разгул убийства и разрушения. Только воины Батыя не называли себя, как северные бароны, воинством Христовым.

В 1232 году папа Григорий IX окончательно отстраняет епископов от «дела веры» и поручает ведать розыск еретиков доминиканским, а невдолге и францисканским монахам, требуя от духовных и светских властей полного содействия инквизиционным трибуналам. Но еще за год до того Рим назначает Верховным судьей по делам немецких еретиков доминиканца Конрада из Марбурга. С двумя подручными, другим Конрадом, по прозвищу Туловище, и кривым на один глаз Иоганном, он три года ездит по Германии на необыкновенно низкорослом муле, по малейшему доносу предавая пыткам и сожжению знатных и простолюдинов, богатых и бедных, монахов и монашек, бюргеров и крестьян.

Альбигойская война жила на юге Франции до 1244 года и кончилась полным разорением цветущего края и гибелью блистательной цивилизации трубадуров, куртуазной любви и веротерпимости. Но инквизиция, учрежденная для истребления катарской ереси, просуществовала до 1434 года. Кажется, в том же году, не помню точно, в Мадриде в последний раз зажгли костер автодафе. Корреспондент одной парижской газеты сообщал: «Пение монахов заглушило крики несчастного еврея».

Но действительно ли кончилась тогда инквизиция? Возникнув в XIII веке, она подстерегала с тех пор европейскую цивилизацию на каждом крутом повороте, принимая, как Протей, все новые обличья. Так, часто кажется, что кошмарный Конрад из Марбурга, отбрасывая огромную зловещую тень, все едет на

своем низкорослом муле по окровавленным отмелям истории, только теперь на нем не ряса доминиканского монаха, а мундир гестаповца или кагебешника, или еще каких-нибудь органов.

Великий инквизитор Достоевского в своем бездонном ясновидении говорит слова, каких Иннокентий III не посмел бы сказать даже самому себе: «Но ищет человек преклониться перед тем, что уже бесспорно, столь бесспорно, чтобы все люди разом согласились на всеобщее пред ним преклонение. Ибо забота этих жалких созданий не в том только состоит, чтобы сыскать то, пред чем мне или другому преклониться, но чтобы сыскать такое, чтобы и все уверовали в него и преклонялись перед ним; и чтобы непременно все вместе. Вот эта потребность общности и есть главнейшее мучение каждого человека единолично и как целого человечества с начала веков. Из-за общего преклонения они истребляли друг друга мечом... Ты знал, Ты не мог не знать эту основную тайну природы человеческой».

Вот ключ к пониманию генетического кода инквизиции и ее последующих отраслей: всех революционных трибуналов, всех Гестапо и КГБ.

Всем известно, все живое живет за счет живого. Убийство — закон природы. Животные убивают других животных, чтобы насытиться или охраняя свою территорию. К этим, так сказать, естественным видам убийства человек прибавил еще убийство с целью утвердить Истину и всеобщее ей поклонение. Почему непременно всеобщее? Да потому, что когда дело идет об Истине, недоказуемой разумом, единственный залог ее несомненности — это именно то, что все в нее верят и все ей поклоняются. Не могут же все ошибаться. Но если это так, если непреложность Истины зависит от единодушного ее признания всеми, то что же тогда делать с тем, кто отказывается ее признать? Ведь пока он жив, он колеблет своим отрицанием ее

истинность, мешает ей быть во всей своей полноте. Враг Истины, он тем самым и враг всего основанного на ней земного и небесного порядка, подрыватель основ. Чтобы восстановить бесспорность и полноту Истины, такого человека нужно или привести к ней хотя бы насильно, или убить.

А как же христианство? Ведь христианская Истина еще менее доказуема разумом, чем все другие, и ни одно учение так не призывает к «всемирному и всеобщему единению», как учение Христа. Не выходит ли тогда, что христианство неизбежно должно вести к инквизиции?

Вот тут-то и сбились инквизиторы. Завороженные духом ересебоязни и соблазном власти, они забыли, что объединение, к которому зовет Евангелие, недостижимо насилием и убийством. В этом всё. Евангельское объединение созидается только на утверждении верховной ценности личности и свободы человека, и на любви не только ко всем людям, но и ко всей твари и ко всему творению. Вспомните святого Франциска из Ассизи: «брат мой волк» и «брат мой огонь». Милосердная любовь и есть христианство. Когда она проявляется, все сомнения отступают и гаснут, ее божественное дыхание не нуждается ни в каких умственных доказательствах. Объединение, основанное на такой любви и на «решении личном и свободном», никогда не приведет к «бесспорному и согласному муравейнику».

Измена инквизиции учению Христа, значит, вовсе не в том, что она хотела «устроиться непременно всемирно», а в том, что, соблазнясь третьим искушением в пустыне, она взяла меч кесаря и, отменив свободу, которой «Христос благословил людей», решила установить «общность поклонения» насильно.

Католическими проповедниками все более обуревает ярость фанатической нетерпимости. Еретики хуже

дьявола. Францисканец Бертольд из Регенсбурга заявляет: «Я предпочту провести целый год с пятьюстами дьяволов, чем две коротких недели в одном доме с еретиком». Кто не принимает Истину — да умрет. Фома Аквинат дошел до того, что облыжно уверял, будто Иоанн Златоуст требовал смертной казни для Ария. Ссылаясь на эту сказку, многие латинские богословы призывают жечь еретиков. Историки видят тут следствие возрождения при папах Иннокентии III и Григории IX римского права: смертная казнь для еретиков была установлена при императоре Юстиниане, именем которого назван знаменитый кодекс.

Так на Западе в XIII веке, веке хозяйственного подъема и технического развития, строительства соборов и великой святости, рядом с «цветочками» Франциска Ассизского всходят плевелы исступлённой нетерпимости, которая приведёт к безумию религиозных гонений, религиозных войн и политических и социальных революций, подобных религиозным революциям, и к современному идеократическому тоталитаризму в его двух основных вариациях: национал-социализма и марксизма-ленинизма.

Официальную церковь, одержимую духом инквизиции, смущают усилия Роджера Бэкона, Фомы Аквината и Сигера Брабантского примирить разум и веру. Она изменяет средневековому идеалу единства религии и культуры. В 1277 году парижский епископ Этьен Темпье обвиняет студентов Сорбонны в 217-ти гнусных заблуждениях. Они подпали, де, под влияние греческой и арабской философии. Самого Фому Аквината подозревают в аввероизме. Сигер Брабантский объявлен еретиком. Ученик францисканцев-спиритуалов Данте Алигьери вспомнит о нём в десятой песне Рая:

То вечный свет Сигера, что читал
В Соломенном проулке в оны лета
И неугодным правдам поучал...

То же в Англии. Доминиканец архиепископ Кентерберийский осуждает рационализм в богословии и зачатки опытной науки. В 1278 году труды величайшего ученого Средних веков Роджера Бэкона и других английских францисканцев запрещены. Самого Бэкона посадили в тюрьму, где «дивный доктор» томился почти до самой смерти.

Три предыдущих века папская власть сосуществовала в жизни церкви с партией постоянного обновления. К концу XIII века союз распадается. Полная папская победа: все ереси подавлены, но подавлена и духовная творческая свобода. Средневековая культура начинает клониться к упадку.

Подавление интеллектуальной свободы сопровождалось и замедлением развития техники. Французский историк Жан Гимпель считает, что в XI, XII и XIII веках в латинской Европе технический прогресс шел так же быстро, как в Соединенных Штатах в XIX-XX веках, но к концу XIII века это развитие начинает замедляться.

Конечно, и прежде в Европе, как всегда и всюду, не было недостатка в ненависти ко всем, кто веровал по-другому. Уже в XI веке жгли еретиков и устраивались кровавые еврейские погромы. А в 1155 году в Риме удавили и сожгли аскета-священника Арнольда из Брешии. Он не проповедовал никакой ереси, а только объявил подделкой апокрифическую дарственную запись, по которой император Константин Великий будто бы отдал во владение папе Сильвестру Рим и всю Италию. И все-таки в XII веке монахи в аббатстве Клуни переводят Талмуд и Коран; катары не таясь исповедуют свою манихейскую веру и без боязни спорят с проповедниками, которые уговаривали их вернуться в лоно католической церкви. В Англии, в Испании, во Франции христианские, еврейские и мусульманские богословы беседуют друг с другом о вере

и философии. В XIII веке такие беседы больше не разрешаются. Правда, в 1240 году в Париже перед Людовиком Святым и в 1262 году в Барселоне перед Яковом Первым Арагонским прения между христианами и евреями все-таки имели место. Но это уже не «куртуазное» обсуждение, как в XI веке. Теперь евреев поносят как народ богоубийцу, испорченный и лукавый. Жуанвиль рассказывает: Людовик Святой разрешил спорить с евреями только ученым богословам, простым же мирянам он заповедовал: «если еврей клевещет на христианскую веру, пусть христианин с ним не спорит словами, а извлечет свой меч и как можно глубже воткнет ему в живот».

Евреев, которые так много сделали для расцвета «открытой» цивилизации Европы XII века, начинают все больше притеснять, из многих стран их выселяют.

Перед отплытием на поиски «западного пути» в Индию, генуезец еврейского происхождения Христофор Колумб в обращении к Изабелле Кастильской и Фердинанду Арагонскому говорит: «Я утверждаю, Святой Дух может одинаково проявляться среди христиан, среди евреев, среди мавров и среди всякого рода людей, не только мудрецов, но и самых простых».

Но королева Изабелла больше слушала другого человека — кардинала Сиснероса, главу инквизиции Кастилии и Арагона. При нем инквизиция особенно свирепствовала. На указания, что инквизиционное судопроизводство нужно преобразовать, он отвечал: «Инквизиция так совершенна, что никогда не будет нужды ее реформировать. Что-либо менять в ней — грех».

3 августа 1492 года три корабля Колумба уходят в Атлантический океан. А накануне, по настоянию кардинала Сиснероса, королева Изабелла издает указ, что все евреи в ее королевстве должны креститься или уехать. Для продажи имущества им давали четыре

месяца, но они не имели права брать с собой ни золота, ни серебра. По словам хрониста, «они отдавали дом за осла, виноградник за отрез сукна или полотна».

Любопытно, что позднее кардинал Сиснерос собирает по всей Европе евреев, знатоков еврейского языка, для учрежденной им школы языков. Они преподавали под его защитой.

Судьба крестившихся была не легча. Инквизиция неустанно преследовала крещеных евреев и мусульман, маранов и морисков, подозревая их в тайной приверженности к вере отцов. Были введены даже, похожие на нюрнбергские, законы о чистоте крови — *limpieza de sangre*.

Чтобы попасть в университет, стать офицером или прелатом, получить назначение на малейший официальный пост, каждый должен был представить доказательства, что среди его предков не было евреев или мавров. Составление таких родословных вело к развитию взяточничества и шантажа. Тысячи и тысячи людей из самых благочестивых, богатых и знатных семей попали в руки инквизиции по доносам, что они скрывают, что у них есть «нечистая» кровь. Такие доносы часто делались для сведения счетов или из зависти и корысти: завладеть местом, званием, деньгами «нечистого». Исследователи-специалисты составляли черные списки.

Оставшихся евреев стали загонять в гетто. Уже в 1215 году на 4-м Латранском Соборе было постановлено, что впредь евреи должны носить опознавательный знак — особый кружок, в римском гетто, учрежденном в XVI веке, — желтую шапку. Вот первые пробные модели гитлеровской жёлтой звезды. Еврей уже больше не свободный человек, каким он был в Испании трех религий: христианской, еврейской и мусульманской, или во времена Каролингов.

Казалось бы, всякому, кто помнит Нагорную про-

поведь, должно быть несомненно: инквизиция была страшным внутренним поражением исторической церкви, изменой церкви самой себе, своему призванию служить делу евангельской любви.

Казалось бы, у христианина не может быть другого отношения к инквизиции с ее пытками и кострами, кроме соловьевского и солженицынского — как к тяжкому греху.

Однако находятся люди, которые думают, что говорить о грехе инквизиции в наше время гонений на церковь — это лить воду на мельницу антирелигиозной пропаганды. Люди эти ищут для инквизиции оправдание. По их мнению, то была законная, необходимая, спасительная самозащита от «дьявольских» ересей, которые угрожали самому существованию не только церкви, но и всего средневекового общества, всей христианской цивилизации. И как, к примеру, было не выгнать из Испании евреев, они так нагло всюду лезли, а главное, это всем известно, крали и распинали христианских детей, как этот ужасный Юсе Франко — оказывается, типичная еврейская фамилия, — которого сожгли в 1490 году. Правда, несомненных доказательств его виновности не нашли, но разве могли ошибиться Инквизиционный трибунал и Саламанкский университет? Тем более, что дело разбиралось под наблюдением самого Генерального Инквизитора Испании Томаса Торквемады, известного своей беспристрастностью. И разве виновата инквизиция, что посла сожжения Франко народ в нескольких местах устроил еврейские погромы?

И вообще очень преувеличены все эти разговоры об ужасах инквизиции. Все это легенда. Инквизицию просто оклеветали. Взять хотя бы того же Торквемаду. Его ославили на века беспощадным палачом. А был он человек смиренный, справедливый, милосердный, неподкупный. Единственно к чему стремился,

чего хотел — подражать Иисусу Христу. И уж какой был молитвенник, как изнурял свою плоть, никогда не ел мяса, спал на голых досках, не носил никакого белья, да и передал-то он светской власти для сожжения «к вящей славе Господней» *всего* две тысячи самых злых еретиков.

Что верно, то верно. По сравнению с гиммлерами и ежовыми даже Торквемада может показаться душкой. Но повторяю, тот, кто помнит Нагорную проповедь, не может оправдать сожжения хотя бы одного только человека.

Общее число жертв инквизиции никогда не было подсчитано. Французский историк Жан Делюмо в книге «Умирает ли христианство?», за которую он получил Большую католическую премию по литературе, пишет, что с 1480 по 1834 год в Испании было сожжено около 100 тысяч еретиков. Это несравнимо меньше числа человеческих жизней, уничтоженных тоталитарными режимами нашего времени за сроки куда меньшие: в гитлеровских лагерях 12 миллионов, в ГУЛаге 60 миллионов. В Камбодже красные кхмеры за два только года убили пятую часть всех жителей.

Но Делюмо справедливо говорит: сравнение числа жертв не должно служить для оправдания инквизиции.

Замечу от себя, если к сожженным на кострах, замученным, замурованным прибавить убитых во время всех Варфоломеевских ночей, всех драгонад и религиозных войн, число жертв раздутой инквизицией фанатической нетерпимости окажется не таким уж незначительным. В одной только Германии в тридцатилетнюю войну погибла половина населения. Чудовищная эта война принесла миллионам людей ужасные страдания, надругательства и смерть и воспитала поколения беспощадных убийц, грабителей и насильников. Она привела не только к хозяйственной раз-

рухе, но и к глубоким повреждениям в национальном сознании немецкого народа. Американский историк, немец по происхождению, Петер Вирек считает, что национал-социализм вырос не только из обиды на несправедливость Версальского мира, но еще в большей мере из старой обиды на еще более несправедливый и унизительный для Германии Вестфальский мир 1648 года. Чтобы смыть эту обиду, Гитлер будто бы собирался в случае полной своей победы подписать всеобщий мир в Мюнстере.

Мне приходилось уже писать о поразительном сходстве большевистского ревтрибунала с якобинским.

А якобинский был упрощенным подобием инквизиционного и преследовал подозреваемых в политической ереси с таким же свирепством, как инквизиция подозреваемых в религиозной ереси. Не провиденциально ли, что якобинский клуб обосновался в Париже в бывшем доминиканском монастыре на улице Святого Якова? Тут шли непрерывные драматические представления: обличительные речи, самокритика, чистки. Как правило, последнее действие совершалось на площади, на помосте с гильотиной, «... то разве года два держалась на плечах большая голова».

Камил Демулен в порыве революционного восторга называл якобинские клубы инквизиционными трибуналами народа. Он не предвидел, что он сам и его жена падут жертвами этой так восхищавшей его народной инквизиции. Так же, как до них инквизиторы, а после них большевики, якобинцы объявили доносительство долгом и добродетелью. Для предания Революционному трибуналу было достаточно любого доноса. Только якобинцы еще упростили и без того упрощенное инквизиционное судопроизводство. В инквизиционном трибунале дело могло тянуться очень долго, в Революционном не более трех дней. Считалось, это

достаточный срок, чтобы «просветить» совесть судей.

В. Чернявский в статье «Предсказание Казота» приводит любопытные слова Анатоля Франса о герое своей повести «Боги жаждут» Гамелене: «Я взял инквизитора, переодел его и переместил в другую эпоху — получил Гамелена. Когда я совершил такую подмену, я был поражен почти полным совпадением характеров».

Большевики — те же якобинцы, якобинцы — те же инквизиторы. Тут прямая родословная линия: большевистский террор — ублюдок Святой Гильотины, которая сама была ублюдком Святой Инквизиции. Не следует поэтому удивляться необыкновенному сходству созданного по якобинскому образцу большевистского ревтрибунала с инквизиционным.

В глазах инквизиторов инквизиция была «самым благородным, самым великим, самым благочестивым» предприятием. Она основана на «Божьем праве» и должна распространяться по всей земле. Так в глазах коммунистов — коммунистическая власть, основанная на единственно истинном учении, — самое благородное, самое великое предприятие и должна распространиться по всей земле.

Тема сродства власти коммунистов и власти инквизиторов не раз привлекала писателей восточной Европы.

Михаил Геллер напомнил недавно, что Илья Эренбург в «Необычайных похождениях Хулио Хуренито» посвятил целую главу «кремлевскому коммунисту», назвав ее «Великий инквизитор вне легенды». Геллер пишет: «У Эренбурга Ленин — фанатик, верящий, что он ведет людей к счастью, убежденный, что если люди не хотят идти к счастью добровольно, надо их заставить быть счастливыми».

В Польше появилось немало произведений, навеянных «Великим инквизитором» Достоевского. Од-

но из них — повесть Анджиевского. Когда в Польше в октябре 1956 года наступила оттепель, польский писатель Ежи Анджиевский, которого позднее, хотя у него нет еврейской крови, объявят сионистом, пишет повесть «Тьма покрывает землю». В этой повести он рассказывает о стране, где все должны подчиняться «генеральной линии», всякая попытка думать по-своему осуждена, и жителей заставляют признаваться в преступлениях, которых они не совершали, и доносить на своих лучших друзей. В стране этой всё — как в Польше под властью коммунистов. Но, для отвода глаз и чтобы подчеркнуть разительное сходство, Анджиевский пишет, что действие происходит в Испании, во время инквизиции.

Великий инквизитор Торквемада поучает молодого монаха Диего: «Людей нужно спасать насильно, против их воли. Нам придется еще долго их опекать, истребляя в их сознании всякий соблазн, все, что мешает пришествию Царствия Божьего».

Когда же Диего говорит о страданиях людей, Торквемада его заверяет: «Мы покончим со всеми противоречиями и тем самым со всеми страданиями».

У Диего доброе сердце, ему жалко людей. Он спрашивает: «Когда?»

Торквемада: «Только тогда, когда всё человечество примет великую Истину и все люди будут думать и верить одинаково... Если тебе дорога Истина, ты не можешь любить и жалеть тех, кто ей противится. Когда идет борьба за торжество Истины, нет никого, кто стоял бы выше подозрений. В каждом может таиться семя зла. Прежде чем думать о милосердии и любви, нужно искоренить зло».

Слова эти одинаково верно выражают идеологию и святой инквизиции, и коммунистов. Только вместо Царствия Божьего у коммунистов обещанный Марксом прыжок в царство свободы. А так все одинаковое:

та же структура мыслей и чувств, и средства те же. Неудивительно, что революционные трибуналы оказались во всем похожими на инквизиционные. Они то же самое, только, при всей чудовищности инквизиционных, коммунистические по сравнению с ними выходят по всем статьям еще более чудовищными.

Сопоставим «Архипелаг ГУЛаг» Солженицына с дополненным в XVI веке Франциском Пенья «Руководством для инквизиторов», которое я уже не раз упоминал.

Солженицын: «Как средневековые заплечные мастера, наши следователи, прокуроры и судьи согласились видеть главное доказательство виновности в признании ее подследственными». Солженицын считает, что именно это привело к применению пыток. «Такая простая здесь связь: раз надо обвинить во что бы то ни стало — значит неизбежны угрозы, насилия, и пытки, и чем фантастичнее обвинение, тем жесточе должно быть следствие, чтобы вынудить признание».

До Солженицына из русских писателей только Пушкин говорил об этом с таким же верным и глубоким пониманием. Вспомним «Капитанскую Дочку»: «Пытка в старину так была укоренена в обычаях судопроизводства, что благодетельный указ, уничтоживший оную, долго оставался без всякого действия. Думали, что собственное признание преступника необходимо для его полного обличения, — мысль не только не основательная, но даже совершенно противная здравому смыслу: ибо если отрицание подсудимого не приемлется в доказательство его невиновности, то признание его и того менее должно быть доказательством его виновности».

Но у инквизиторов всех времен другие понятия о здравом смысле, чем у Пушкина и Солженицына. Инквизиционный трибунал как раз ставил себе целью

во что бы то ни стало добиться признания обвиняемого.

Франциско Пенья: «Перед тем, как приступить к пытке, вспомните, что цель ее не столько установить какое-либо обстоятельство, сколько принудить подозреваемого признаться в вине, в которой он не признается. В других судах признание не считается достаточным доказательством преступления... но перед инквизиционным трибуналом признания обвиняемого достаточно, чтобы его осудить. Преступление ереси рождается в разумении и кроется в душе, отсюда очевидно следует, что ничто не докажет его несомненнее, чем признание самого обвиняемого».

Вот почему, если подозреваемый в ереси упорствовал в отрицании своей вины, инквизиторы имели право подвергнуть его предварительному заключению, назначив такую степень воздействия, какую найдут наиболее соответственной обстоятельствам: заковать его в кандалы, морить голодом, лишать сна. Считалось, эти меры, если применять их с толком, помогали, как тогда говорили, «раскрыть сознание», то есть обвиняемый, как говорят теперь, «раскалывался». Но если он продолжал упорствовать, тогда применяли пытки. Однако, пытать не разрешалось более 15-ти дней, и пытки не должны были вести к членовредительству и быть опасными для жизни. Некоторые инквизиторы были вообще против пыток, потому что слабые признавались под пыткой в чем угодно, а наиболее стойкие выдерживали и не признавались. Их нужно было тогда отпускать. Виды пыток были ограничены, всего пять.

Но Пенья пишет: «Однако, было немало судей, которые изобретали очень многочисленные виды пытки. Марсиль говорит о четырнадцати родах пыток и заявляет, что изобрел еще больше, чем заслужил похвалы Павла Грийана. Что же касается меня, если вы

хотите знать мое мнение, то я скажу вам, такая эрудиция, мне кажется, более подобает работе палачей, чем юристов и богословов, как мы. С этой оговоркой я, однако, хвалю обычай пытать обвиняемых, особенно в наши дни, когда нечестивые держат себя бесстыднее, чем когда-либо».

Солженицын: «Если до 1938 года для применения пыток требовалось какое-то оформление, разрешение для каждого следственного дела, — то в 1937-38 годах... насилия и пытки были разрешены следователям неограниченно, на их усмотрение... Не регламентировались при этом и виды пыток, допускалась любая изобретательность»

Но вот самое поразительное. «Душа навстречу палачу». Это не выдумка Цветаевой. Церковные хронисты с беспокойством отмечали, что многие еретики, особенно катары и францисканцы-спиритуалы, шли на костер с радостью, с улыбкой, с восхищением. Некоторые даже сами просили, чтобы их сожгли. Пенья: «Еретики такого рода часто сами требуют для себя сожжения на костре. Они убеждены, если их осудят на сожжение, они умрут мучениками и сразу же вознесутся на небо... Само собой разумеется, их неразумному желанию ни в коем случае нельзя потакать... Наоборот, их нужно полгода или даже год держать в кандалах в тюрьме ужасной и темной, так как тюремные тяготы и постоянные притеснения часто пробуждают правильное разумение».

Впрочем, по убеждению инквизиторов, темница всегда должна быть ужасной; не просто место заключения, а вид пытки.

Солженицын: «Исключительность, которую теперь письменная и устная легенда приписывает 37-му году, видят в создании придуманных вин и пыток. Но это неверно, неточно... Ночные допросы были главными в 1921 году. И тогда же наставлялись автомобильные

фары в лицо (рязанское ЧК). И на Лубянке в 1926 году использовалось амосовское отопление для подачи в камеру то холодного, то вонючего воздуха. И была пробковая камера, где и так нет воздуха и еще поджаривают... Участник Ярославского восстания 1918 года Василий Александрович Касьянов рассказывал, что такую камеру раскаляли, пока из пор тела не выступала кровь; увидят это в глазок, клали арестанта на носилки и несли подписывать протокол...»

Между инквизиционными трибуналами и органами еще другая важная черта сходства: поощрение доносов. Доносить на еретиков, поучали инквизиторы, — «Божий закон». Тот, кто, пренебрегая спасением души, не соблюдает этот закон, подлежит отлучению от церкви. А доносчику награда — три года отпущения грехов и обеспеченное вечное спасение.

Чтобы стукачи не опасались возможной мести, их имена не только не сообщались обвиняемому, но вообще нигде не оглашались. Их знал только инквизитор или назначенный им комиссар. Очная ставка не допускалась, но если стукач соглашался выступить на суде обвинителем, он должен был представить абсолютные доказательства верности своих показаний. А коли не сможет, ему самому тогда наказание, к какому приговорили бы подозреваемого в ереси, окажись донос обоснованным. Кстати, так и в «Записи целовальной» Василия Шуйского: «а кто на кого лжет, и, сыскав, того казнити по вине его: что было возвёл неподельно, тем самым и осудится».

Многие инквизиторы возражали против этого закона, считая его несправедливым и слишком строгим к стукачам. Если его применять, никто больше из страха наказания не решится доносить и «дело веры» пострадает. Вот почему, хотя он никогда не был отменен, закон этот во времена Франциско Пенья фактически больше не соблюдался, во всяком случае, лже-

свидетелей никогда не выдавали светским властям для сожжения. Роль же обвинителя стали поручать особому чиновнику инквизиции, который назывался «фискалом». Но все же, для предотвращения доносов из личной ненависти, или из мести, или по соображениям выгоды, или по приказу третьего лица, показания доносчиков строго проверялись. Ничего подобного описанной Солженицыным чуме безнаказанных доносов для сведения личных счетов или чтобы получить жилплощадь соседа — не было.

В Византии, с которой русская культура связана сыновним преемством, лжесвидетельство считалось грехом. Византийские мастера не любили изображать мучения грешников в аду, но в тех редких случаях, когда они это делали, например, на фресках Кастории, в Западной Македонии, они изображали лжесвидетеля повешенным вниз головой. По старой русской пословице: за облыг на том свете язык жегалом протыкают. Но в Советском Союзе стукачу ничего не грозит.

«Наш Закон, — говорит Солженицын, — совершенно не помнит греха лжесвидетельства — он вообще его за преступление не считает! Легион лжесвидетелей благоденствует среди нас, шествует к почтенной старости, нежится на золотистом закате своей жизни».

Рыба с головы тухнет. Доносительство на партийных товарищей очень рано становится в партии обычным явлением, начинает почитаться гражданской добродетелью. На XIV партсъезде, в декабре 1925 года, член Центральной Контрольной Комиссии товарищ Гусев заявил: «Что же, мы за доносы, такие доносы должны быть в партии, ибо каждый коммунист должен быть чекистом».

Ему возражал член ленинградской делегации Минин: «Развившаяся за последнее время система писем, использования частных разговоров, личных сообще-

ний, когда всем этим пользуются без всякой проверки и все эти сообщения объявляются сразу вполне достойными веры, причем авторы подобных сообщений и писем берутся тут же под особое покровительство, не может не принять в партии самые нездоровые и до сих пор немыслимые обычаи».

Вся последующая история партдиктатуры показывает, какое из двух мнений возобладало. Из партии метастазы раковой опухоли расползаются по всей стране. Героем коммунистической цивилизации становится Павлик Морозов.

Инквизиция смогла сломить сопротивление катаров и других еретиков главным образом именно потому, что поощряла доносительство. Скрывая имена настоящих стукачей, инквизиторы часто говорили обвиняемым, что на них будто бы донесли самые близкие им люди. «Ваш друг, имярек, утверждает, что видел, как вы шли на тайное сборище катаров». Никто больше не знал, кому можно доверять. Связь круговой поруки распадалась. Торквемада в упомянутой мною повести Анджиевского говорит: «Наша власть основана на страхе. Нужно, чтобы жена не доверяла мужу, родители боялись детей, сослуживцы — один другого. И все должны трепетать перед всезнающим судом Святой Инквизиции».

Из опыта Робеспьера Маркс, Энгельс и Ленин вывели науку тоталитарной идеократии, осуществляемой одной партией и даже одним только человеком. Через якобинцев марксизм-ленинизм наследовал и другую всеевропейскую традицию, традицию инквизиционную: грешников нужно привести к спасающей абсолютной Истине насильно, а злых еретиков, которые своим инакомыслием мешают Истине занять её место, тех уничтожать.

И вместе с тем и якобинство, и марксизм-ленинизм были метаморфозами как раз тех мессианских эгали-

тарных движений средневекового хилиазма, с которым боролась инквизиция. Как это может быть? Как якобинство, марксизм и большевизм могут быть одновременно метаморфозами двух противоположных друг другу тенденций: революционной и охранной?

Могут. При всей их противоположности, две эти тенденции растут из одинакового сознания, что Истину можно утвердить и охранить только насилием и террором. Правда, одни хотят насилием и террором построить «новый мир», другие охранить существующий порядок. Задачи прямо противоположные, да средства те же и такая же одержимость антихристианским духом нетерпимости, непрощения и ненависти. К тому же революционеры, только свергнут короля или тирана, глядь, уже сами оборачиваются охранителями своей новой власти и устраивают свою собственную инквизицию.

Все это позволяет утверждать, что продолжение якобинской революции — большевистская — была новым эпицентром, новым прибоем всеевропейской мессианской революции, которая подымалась уже в Средние века в движениях эгалитарного хилиазма, бурлила в апокалиптических сектах, игравших такую роль в английской революции, и впервые восторжествовала с диктатурой якобинцев.

Да, казалось бы, все это не подлежит сомнению. А между тем, нас всё время настойчиво хотят убедить, что истоки большевизма нужно искать вовсе не в марксизме и не в якобинстве, а исключительно в «специфике» русской истории: в татарщине, в опричнине, в революции сверху Петра Великого, и вот феодализма в России не было, и русские прирожденные рабы, и при Николае I был учрежден корпус жандармов в несколько тысяч человек. Подобные утверждения вовсе не плод исследовательских усилий устано-

вить действительную родословную большевизма. Они обычно продиктованы: или желанием во что бы то ни стало снять с марксизма ответственность за Архипелаг ГУЛаг; или доходящей порой до анти-русского расизма, застарелой, утробной враждой ко всякой России, — Советский Союз, дескать, всё та же царская империя; или, как в случае Бердяева, комплексом национальной неполноценности: «русский народ... может осуществлять или братство во Христе, или товарищество в антихристе». Куда же буржуазному мещанскому Западу устроить такую революцию, как большевистская!

О всех этих утверждениях не стоило бы и говорить, не мешай они Западу понять подлинную природу идеологии марксизма-ленинизма и найти способы противостоять её наступлению.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

«ЧЕВЕНГУР»

По мне, «Чевенгур» Андрея Платонова — одна из самых важных книг для понимания большевистской революции. Попала она мне в руки случайно. Все хвалили, но никто не мог ясно сказать, о чем она. На обложке имковского издания голова коня и голова солдата. Неопределенно подумалось: верно что-нибудь о конармии. Тем больше с каждой страницей возрастало мое удивление. Я такого не ждал.

Андрей Платонов изображает большевистскую революцию как великую и в то же время безумную, страшную и жалкую эсхатологическую драму. В Чевенгуре все апокалиптики. Чевенгурские «буржуи» ждут второго пришествия: «Лежали у заборов в уюте лопухов бывшие приказчики и сокращенные служащие и шептались про лето Господне, про тысячелетнее царство Христово, про будущий покой освященной страданиями земли».

Для чевенгурских же коммунистов это ожидание второго пришествия — предрассудок, контрреволюция. Но вот что удивительно, они сами ждут свершения, конечно, какого-то небывалого, космического события, которое все преобразит. После того, как капиталисты и мелкая буржуазия будут повсеместно истреблены, «социализм придет моментально и все покроет. Еще ничего не успеет родиться, как хорошо настанет». Новое небо и новая земля настанут: «в Дванове уже сло-

жилось беспорочное убеждение, что до революции и небо и все пространство были иными — не такими милыми». И времени, как клялся Ангел, уже не будет:

— А у нас всему конец.

— Чему же конец-то? — недоверчиво спрашивал Гопнер.

— Да всей мировой истории конец — на что она нам нужна!»

Другому герою повести при чтении статьи Ленина о кооперации «открылась столбовая дорога святости, ведущая в Божье государство житейского довольства и содружества». Когда он приходит в Чевенгур искать кооперацию, председатель чевенгурского ревкома Чепурный ему говорит: «история уже кончилась». Дванов догадывается, почему Чепурный и другие чевенгурские большевики так хотят коммунизма: «он есть конец истории, конец времени».

Чепурный? Что за фамилия? Уж не придумал ли Платонов? Не имею представления, какими источниками он пользовался, когда писал свой «Чевенгур». Может быть, это только случайное совпадение. Но вот в 1966 году, т. е. без малого через сорок лет после написания «Чевенгура», выходит книга С. С. Волка «Народная Воля». В ней есть ссылка на статью Я. Абрамова «Прошлое и настоящее штунды», журнал «Дело» 1883, № I:

«Весной 1881 г. крестьянин с. Мордва Феодосий Чепурный называл царя дьяволом и говорил землякам, что убьют и нового государя, а когда истребят всю царскую фамилию, «будут бить панов, священников и богатых мужиков для того, чтобы раздавали все бедным». Крестьянин с. Погорелец Степан Шутенко в 1882 г. проповедовал упразднение церквей, духовенства и правительства. Он оправдывал С. Перовскую и говорил, что Александра III убьют и других государей

не будет, а настанет общее равенство и общность имущества».

В «Известиях Воронежского краеведческого общества» в 1926 году, в №№ 7 и 8, И. Тарыдин писал о крестьянских откликах на I-е марта 1881 г. в Воронежской губернии: «Порой антицарские высказывания носят мистический, полурелигиозный характер. Крестьянин Добрынченко из слободы Бутурлиновки (Воронежской губ.) в начале марта говорил, что Александр II был змей из Апокалипсиса, который «хвостом своим, т. е. железной дорогой, охватил всю Россию», а об Александре III говорил как об антихристе, народившемся от того змея. В середине марта отставной рядовой В. Петров в с. Тюменевке той же губернии сказал односельчанам: «Вы присягали не государю, а антихристу».

Повторяю, не знаю, был ли Платонов знаком со всеми этими свидетельствами. Но трудно отделаться от чувства, что его Чепурный — это все тот же Феодосий Чепурный, но только с тех пор он узнал о Марксе и Ленине.

Хорошо. То, что ждали второго пришествия чевенгурские «буржуи», понятно. Они жили «ради Бога», верили по-церковному и видели в ужасах революции несомненные признаки кончины века. Но откуда же все-таки эсхатологические чаянья у чевенгурских коммунистов. Ведь вот вы сами говорите, они верили уже не в гибель антихриста, а в учение Маркса и Ленина. Вот именно поэтому. Они знали, что Маркс и Ленин требуют «ликвидации класса остаточной сволочи», и тогда наступит «окончательное счастье» и всей мировой истории придет конец. Именно в этой вере и нужно искать объяснение апокалиптического вдохновения большевистской революции.

Не знаю, думал ли об этом сам Платонов? Слесарь, красноармеец, писатель, одаренный ясновиденьем подлинного художника, он рассказал притчу о том, чему был свидетелем. «Чевенгур» — трагическая эпопея обманутого Лениным русского люмпен-пролетариата, «босоты», голытьбы. В рассказе Платонова эта эпопея настолько напоминает эгалитарно-коммунистические мессианские движения европейского средневековья, что с удивлением чувствуешь: тут не только сходство, тут прямое, хотя и скрытое, подземное преемство. Те иностранные и русские толкователи, которым непременно хочется видеть в большевистской революции чисто русское, невозможное на Западе явление, просто не помнят европейскую историю. Тому, кто не читал ее забытые кровавые преданья, не понять, откуда пошли тоталитарные движения нашего времени. Конечно, как всякое историческое событие, и большевистская и национал-социалистическая революция, говоря марксистским языком, происходили каждая в своем «историческом контексте», и у каждой из них была своя «специфика». Кто с этим спорит? Но в последнем, самом важном счете это были новые, еще небывалой силы взрывы революционного хилиазма, который в прошлом столько раз сотрясал устои европейского общества.

С наибольшей определенностью об этом писал Норман Кон в замечательной книге «Стремление к тысячелетнему царству». Рассказывая историю европейского революционного хилиазма, Норман Кон приходит к заключению, что теперешние тоталитарные идеологии, в сущности, — завершение средневековых апокалиптических учений, только под современной наукообразной оболочкой. Норман Кон указывает, что это смутно чувствовали сами идеологи национал-социализма и коммунизма. В «Мифе XX века» Розенберг посвятил целую восторженную главу германскому

внецерковному мистицизму XIV века, он говорит и о движениях беггардов, бегинок и братьев свободного духа. Другие нацистские историки внимательно изучают революционный хилиазм Верхнего Рейна. Коммунисты же, с легкой руки Энгельса, написали несчетные книги о Томасе Мюнцере.

Национал-социализм и коммунизм — единоутробные ублюдки. При всех их внешних различиях они унаследовали тот же генотип: ожидание последнего решительного боя, в том бою мировая тирания будет уничтожена избранным народом — германской расой у нацистов, пролетариатом у марксистов. Тогда настанет миллениум — всегерманский Рейх у нацистов, новый мир у марксистов.

Тому, кто не хочет этого видеть, не понять родословной большевизма и поразительного сходства нацистского и коммунистического государства.

Христиане унаследовали все варианты ветхозаветных апокалиптических пророчеств: и самые воинственные — поражение мечом всех угнетателей избранного народа, и самые светлые и мирные — спасение всех народов, уничтожение смерти навеки, «большая радость» для всех страждущих и бедных.

Ожидание Нового Иерусалима стало закваской всей христианской цивилизации: «И отрет Бог всякую слезу с очей, и смерти не будет уже: ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет». (Откр. Св. Иоанна, 21:4).

В самый разгар восстания Маккавеев был обнародован рассказ о сне пророка Даниила: после совершенного истребления «зверя четвертого», т. е. эллинистического царства Селивкидов, — «царство и величие царств всей поднебесной дано будет святому народу Всевышнего, которого царство — царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему».

Сон Даниила заворожил на века всех угнетенных и обездоленных. Но только святой избранный народ Божий теперь уже не евреи, а Церковь Христова, Новый Израиль, гонимые христиане. В награду за муки они наследуют мессианский пир и станут бессмертными.

Награды за все страдания ждут и герои «Чевенгура». Они верят — при коммунизме наступит «окончательное счастье жизни».

«Чепурный отстал от Жеева и прилег в уютной траве чевенгурской непроезжей улицы. Он знал, что Ленин сейчас думает о чевенгурских большевиках... Ленин наверное пишет Чепурному письмо... чтобы Чепурный со всеми товарищами ожидал к себе в коммунизм его, Ленина, в гости, дабы обнять в Чевенгуре всех мучеников земли и положить конец движению несчастия в жизни».

Рожденные при коммунизме может быть даже не будут умирать. Когда у пришедшей откуда-то нищенки умирает ребенок, Копенкин догадывается, что в Чевенгуре «нет никакого коммунизма — женщина только принесла ребенка, а он умер». Копенкина это поразило: «Какой же это коммунизм... От него ребенок ни разу не мог вздохнуть, при нем человек явился и умер. Тут зараза, а не коммунизм... Отчего он умер? Ведь он после революции родился?»

Грядущее царство святых представлялось первым христианам очень по-разному: то как надмирное, небесное, то как очень даже земное. В первом веке фригиец епископ Папий, может быть, действительно «сидевший у ног Апостола Иоанна», предсказывает вслед за некоторыми еврейскими апокалипсисами, что тогда наступят дни сказочного изобилия: из одного пшеничного семечка будет произрастать десять тысяч колосьев, в каждом по десять тысяч зерен, из которых каждое даст десять мер наилучшей муки. И так все

другие злаки и плоды земные. Работать больше будет не нужно. «И будет земля в 10.000 раз давать плод свой, и на одной виноградной лозе будет 1.000 ветвей, и на каждой ветви 1.000 кистей, а каждая кисть будет приносить 1.000 ягод, а каждая ягода даст кору вина. И те, которые голодали, будут роскошествовать...». (Сириакский апокалипсис Варуха, 73-74).

Сергей Булгаков в незабываемой книге «Два града» предполагает, что «эта цитата, общая псевдо-Варуху и псевдо-Папию, может происходить из общего, хотя и утраченного источника».

Сказочное изобилие снится и героям «Чевенгура». Уже в самом начале повести появляется «вождь». Он рассказывает о неправдоподобно богатой слободе, где мужики едят кур и пшеничные пышки. «В избах тепло, как в бане, — обнадеживал вождь. — Бараньего жиру наешься и лежи себе, спи! Когда я там был, я каждое утро выпивал по жбану квашенки, оттого у меня ни одного глиста теперь внутри нету. А в обеде борщом распаришься, потом как почнешь мясо глотать, потом кашу, потом блинцы, — ешь до тех пор, пока в скульях судорога не пойдет. А пища уже столбом до самой глотки стоит. Ну, возьмешь сала в ложку, замажешь ее, чтобы она наружу не показалась, а потом сразу спать хочешь. Добро!»

Другой герой «Чевенгура» пишет углем на стене:

...Так брось пахать и сеять, жать,
Пускай вся почва родит самосевом.
А ты живи и веселись —
Не дважды к ряду происходит жизнь,
Со всей коммуною святой за руки честные возьмись
И громко грянь на ухи всем:
Довольно грустно бедовать,
Пора нам всем великолепно жировать.
Долой земные бедные труды,
Земля задаром даст нам пропитанье.

Уже начиная с третьего века церковь пытается бороться с хилиазмом. Но вот на пороге XIII века в полувизантийской Калабрии цицтерианский аббат Иоахим дель Фиоре предсказывает: в 1260 году наступит век Третьего Завета, царство Святого Духа, любви, равенства и свободы: больше не будет никакого духовенства и никаких правителей, никому не придется работать, все станут жить в добровольной бедности, ни у кого не будет никакой собственности.

И что же: церковь, которая веками боролась с хилиазмом, эту новую его разновидность не только не осудила, но трое пап уговаривают Иоахима записывать приходившие ему видения.

Учение Иоахима оказало глубокое и длительное влияние на развитие европейской религиозной и научной мысли. Великий ученый средневековья, уморенный в тюрьме фанатизмом Роджер Бэкон, и его ученик Арно де Вильнев, оба близкие к направлению францисканцев-спиритуалов, закладывают основы опытного знания. Они верят: те, кто изучает Природу, постигают и Дух, который открывает им свойства этой Природы. Кстати, это вовсе не Маркс, как это обычно утверждается, а Роджер Бэкон первый сказал, что мир дан, чтобы его изменить и обновить.

Но были у Иоахима и многочисленные последователи другого рода: в их проповедях похвала бедности, как состояния благодатного, соединялась с обетованием дарового изобилия и с древней басней о золотом веке в прошлом, когда все были будто бы равны, никто не работал и не было никаких правителей.

Вспомним вторую часть полуязыческого по духу «Романа розы», одного из самых знаменитых средневековых «бестселлеров»: «Как свидетельствуют предания древних, во времена наших первых отцов и матерей никто не возделывал землю, она сама, какой

сотворил ее Бог, приносила каждому все нужное для его пропитания, и короли и князья еще не грабили преступно чужое добро. Все были равны и ни у кого не было никакой собственности».

Не работать — главная идея чевенгурских большевиков. «В Чевенгуре... жители давно предпочли счастливую жизнь всякому труду, сооружениям и взаимным расчетам, которым жертвуется живущее лишь однажды, товарищеское тело человека». «В Чевенгуре человек не трудится и не бегает, а все налоги и повинности несет солнце». «Прокофий дал труду специальное толкование, где труд навсегда объявлялся пережитком жадности и эксплуатационно-животным сладострастием, потому что труд способствует происхождению имущества, а имущество — угнетению: но само солнце отпускает людям на жизнь вполне достаточные нормальные пайки, и всякое их увеличение — за счет нарочной людской работы — идет в костер классовой войны, ибо создаются лишние вредные предметы». «Чепурный, наблюдая заросшую степь, всегда говорил, что она тоже теперь есть интернационал злаков и цветов, отчего беднякам обеспечено обильное питание без вмешательства труда и эксплуатации. Благодаря этому, чевенгурцы видели, что природа отказалась угнетать человека трудом и сама дарит неимущему едоку все питательное и необходимое»... «...здесь солнечная система самостоятельно будет давать силу жизни коммунизму, лишь бы отсутствовал капитализм, чтобы сверх солнечных продуктов им оставалась нормальная прибавка». «Над нами солнце горит, товарищ Гопнер, — тихим голосом сообщил Чепурный, — Раньше эксплуатация своей тенью его загораживала, а у нас нет, и солнце трудится».

Неизвестно даже, «настанет ли зима при коммунизме или всегда будет летнее тепло, поскольку солн-

це взошло в первый день коммунизма и вся природа потому на стороне Чевенгура».

Проф. Михаил Геллер в своем предисловии к «Чевенгуру» среди главных тем повести особенно отмечает темы отцовства и безотцовщины. Образ отца присутствует и в идеологии почти всех революционных мессианских движений средневековья: Император последних дней. Это то Карл Великий, то по очереди Людовики VII, VIII и IX, то Фридрих II, убежденный, что его рождение имело для человечества такое же значение, как рождение Христа, и всякие лже-Фридрихи и самозванные харизматические вожди. А у чевенгурских большевиков отцы — Карл Маркс и Ленин. Свои отцы у пролетариев «потеряны».

«— Обожди! — сказал Чепурный Прокофию и лично обратился к пешим беднякам, стоявшим массой вокруг чевенгурцев.

— Товарищи... Прокофий назвал вас братьями и семейством, но это прямая ложь: у всяких братьев есть отец, а многие мы — с начала жизни определенная безотцовщина. Мы не братья, мы товарищи...»

Безотцовщина и та голытьба, что шла в Средние века за пророками анархо-коммунистического хилиазма: батраки, малоземельные крестьяне, безработные ткачи и ремесленники, поденщики, бедные, не шибко грамотные священники, беглые чернецы, уволенные наемные солдаты, бродяги, разбойники, воры, проститутки, голь перекатная. Говоря по-теперешнему, люмпен-пролетариат и полуинтеллигенция, деклассированные, вырванные с корнем, «быстроживущие» люди: средняя продолжительность жизни в те времена вообще-то не превышала 30-ти лет, а в торгово-промышленных городах и того меньше — население в них пополнялось главным образом прибылыми из голодной деревни.

Сходство между героями «Чевенгура» и средневековыми хилиастами полное, вплоть до лозунга «грабь награбленное». Лозунг этот был придуман задолго до большевиков. В XIV веке, в Кельне, проповедник мессианского братства Свободного Духа Иоанн Брюнский учит: все, что господа и богатеи считают своим, они добыли разбоем, бедняки имеют поэтому право их грабить, вообще имеют право брать у всех все, что им понравится, и не платить в харчевнях.

Убежденно грабят буржуев и чевенгурские коммунисты. Чепурный уезжает с постоялого двора, не заплатив за постой. У него «денег не было и быть не могло — в Чевенгуре не имелось бюджета». И так же, как для средневековых апокалиптиков евреи, басурмане, феодальные владыки, епископы, купцы и ростовщики были не люди, а демонические слуги Антихриста, плевелы, которые нужно собрать и сжечь, так и для чевенгурских коммунистов буржуи и полубуржуи — не люди. «Нет и нет, — отвергал Пиюся, — вы теперь не люди, и природа вся переменилась»...

Это самая страшная черта сходства между Чевенгуром и средневековым хилиазмом: людей, объявленных не людьми, — уничтожать.

Уже в первые века хилиастические мечтания начинают соединяться с жаждой кровавого отомщения всем гонителям христиан.

С первым крестовым походом нищих хилиазм оборачивается взрывчатым социальным мифом. Стихийные бедствия, глады, страшные болезни, чахотка, проказа, чума, нашествия свирепых язычников, борьба с сарацинами, тяжесть феодального строя, с его бесконечными войнами, поборами, безжалостностью и несправедливостью, все способствует распространению среди угнетенных скудных людей сознания, что только они одни — настоящие христиане, святой избран-

ный народ Божий, призванный истребить мечом нечестивых слуг Антихриста: всех нехристей и лжехристиан, всех «больших», знатных и богатых. Тогда придет тысячелетнее царство, все станет общим, все будут равны и никому не придется работать.

Особенно XIV век ознаменован грозным гулом мессианских коммунистических движений. То было трагическое смутное время Европы. Меняется климат, непрерывные проливные дожди губят посевы. Неурожай за неурожаем, и, как писали в старину, «глад крепок и скудета велия при всем». Сопротивляемость болезням слабеет. Приходит царствие Верной Смерти. Чума возвращается снова и снова. К концу века вымерла чуть не половина населения Европы. В городах и в деревне растет преступность. На дорогах нет проезда от разбойников. В 1337 году начинается Столетняя война со всеми ее ужасами и разрушениями. Города и деревни, по многу раз переходившие из рук в руки, «изнурились в пустыне», жители гибнут или разбегаются. Впрочем, ватаги озверелых наемных солдат грабят, жгут, мучают, насилуют и убивают и в мирное время. Наступили сумерки средневековья, сумерки Европы, время Пляски мертвецов, скорби, великого вопля, шатания, перелома, тревоги.

Хозяйственный подъем XIII века сменяется спадом. Первые банковские крахи, рост цен. Еще делаются важные изобретения: механические часы, гидравлические мехи, порох и многие другие, но технический прогресс все же замедляется. Правда, еще расцветают райские триптихи над алтарями, философия начинает освобождаться от схоластической сухости, и в Италии уже брезжит рассвет Возрождения: Данте, Джотто, Петрарка. Но в центре Европы уже меньше строят соборов. Капиталы скудеют, поглощаются войной. Камнерезов, ваятелей дивных апостолов и святых, сгоняют строить укрепленные замки и тесать камен-

ные ядра. Бога Отца изображают теперь не Строителем Вселенной с огромным циркулем, а с тремя стрелами в руках: чума, голод, война. Апокалиптики ждут прихода антихриста и скорого конца света, спасутся только немногие избранные. Движение самобичующихся, все чаще и больше проникаясь еретическим революционным духом, возобновляется с невиданным размахом.

И повсюду мятежи крестьян и ремесленников: «жаков» во Франции, «чомпи», чесальщиков шерсти, в Италии, «синих ногтей» во Франции. Кровавые бунты и кровавые подавления и в Англии, и в Арагоне, и в Каталонии, и в Священной Римской Империи. Вся Европа качается от землетрясения социальной революции. Читая тогдашние летописи, замечает один французский историк, удивляешься, что к концу века еще оставалось достаточно людей, чтобы воевать, устраивать революции и пахать землю.

Народные восстания полыхают до половины XVI века. Они становились особенно опасными для потрясенного феодального общества, когда их возглавляли «пророки» анархо-коммунистического хилиазма. Назову наиболее известных: Дольчино, Кола ди Риенцо, «бешеный кентский поп» Джон Болл (с оговорками), возглавитель крайних таборитов — «пискарцев» и «адамитов» — Мартинек Хаузка, излюбленный герой Маркса и Энгельса Томас Мюнцер и диктаторы Нового Иерусалима в Мюнстере Иоанн Маттис и заместивший его Иоанн Лейденский. Каждый из них провозглашал себя избранным Божьим работником, глашатаем Спасителя, говорил от Его имени. В их проповеди мечтания о наступлении Третьего Завета, о новом золотом веке и о восстановлении рая на земле срастаются с обетованием мессианского пира в один революционный разрушительный социальный миф. Когда наступит тысячелетнее царство, бедные, «сияя подобно

солнцу», заживут в мире и братской любви: моего и твоего больше не будет, а все общее, болезни и смерть истребятся навеки. Но прежде в последней апокалиптической битве бедные должны очистить землю от слуг Антихриста, извести всех угнетателей и кровопийц, всех господ и богатых, говоря по-марксистски, все враждебные классы. Несчетное число мужчин и женщин были перебиты, обезглавлены, сожжены, четвертованы. Не меньше зверствовали и войска, посылаемые князьями и епископами на усмирение еретиков и подлого народа. По числу жертв террор карателей обычно даже превосходил террор революционных «ангелов мщения», но только те видели в истреблении антихристова воинства мечом Гедеона необходимое предварительное условие для прихода мессианского царства.

Так думают и чевенгурские большевики: коммунизм наступит, только когда будет окончательно ликвидирована буржуазия. Чевенгурский Мюнстер, Новый Иерусалим.

«Ишь ты — где у него сосет! — догадался Чепурный. — Объявить бы их мелкими помещиками, напустить босоту и ликвидировать в течение суток всю подворную буржуазную заразу!»

В другом месте, тот же Чепурный: «...в первую очередь необходимо ликвидировать плоть нетрудовых элементов».

Так же думает и Копенкин: «мое дело устранить враждебные силы. Когда все устраню — тогда оно само получится, что надо».

Но и после ликвидации буржуев Копенкин не чувствует наступления в Чевенгуре коммунизма и счастья. «Грустно затосковал» и Чепурный. Он обращается «за умом» к Карлу Марксу: «громадная книга,

в ней все написано...» Велит Прокофию читать Маркса вслух. Послушав, говорит:

« — Формулируй, Прош...

Прокофий надулся своим умом и сформулировал просто:

— Я полагаю, товарищ Чепурный, одно...

— Ты не полагай, ты давай мне резолюцию о ликвидации класса остаточной сволочи.

— Я полагаю, — рассудочно округлил Прокофий, — одно: раз у Карла Маркса не сказано про остаточные классы, то их и быть не может.

— А они есть, — выйди на улицу: либо вдова, либо приказчик, либо сокращенный начальник пролетариата... Как же быть, скажи пожалуйста!

— А я полагаю, поскольку их быть по Карлу Марксу не может, постольку им жить и не должно».

Чевенгурцы принимают решение изгнать последних полубуржуев из Чевенгура навечно. «Теперь ему стало хорошо: класс остаточной сволочи будет выведен за черту уезда, а в Чевенгуре наступит коммунизм, потому что больше нечему быть».

Изгнанным некуда идти. Они остановились табором недалеко от города. Их тогда расстреливают из пулемета. В Чевенгуре остается всего 11 жителей. Но Копенкин все не может уняться.

«Ночами Копенкин терял терпение — тьма и беззащитный сон людей увлекали его произвести глубокую разведку в главное буржуазное государство, потому что и над тем государством была тьма, а капиталисты лежали голыми и бессознательными, — тут бы их и можно было кончить, а к рассвету объявить коммунизм».

Итак: все, что делает чевенгурских большевиков наследниками средневекового революционного хилиазма, они вычитали у Маркса. Это обязывает к двум выводам.

Первый, вопреки распространенному мнению, объяснение характера большевистской революции нужно искать не в русской истории, а в учении Маркса.

Второй вывод: марксизм, я, впрочем, уже об этом говорил, — современная метаморфоза средневековых коммунистических мессианских движений на Западе.

Мне возразят: позвольте, да ведь движения эти начали затухать уже ко второй половине XVI века, и что общего между бреднями средневековых пророков анархо-эгалитарного миллениума и научным марксизмом. Малограмотные чевенгурские большевики просто неправильно Маркса поняли. И в самом деле: большинство из них даже Маркса не читали, только слышали «кое-что на митинге». И все же смею думать, именно они поняли суть марксизма правильнее, чем все премудрые толкователи его «научности». И во всем мире миллионы людей поняли марксизм по-чевенгурски. Не будь Чевенгура, Маркс упоминался бы теперь только в учебниках политической экономии.

Революционный хилиазм не кончился с Томасом Мюнцером и казнью Иоанна Лейденского. Он вдохновлял крайне левые, а впрочем и крайне правые протоки всех революций XVII, XVIII, XIX и XX веков. Менялся только язык, на каком он выражался, но суть оставалась та же.

Века разума, что пришли на смену векам веры, не оказались более разумными. Разум никогда еще в жизни людей не торжествовал. Современные науки о человеке приходят к выводу, который давно уже напрашивался: человек, homo sapiens, вместе с тем и homo demens. Его отличает от животных не только способность мыслить, но и безумие. Достаточно взять в руки газету или включить радио, чтобы в этом убедиться. Нет, люди не стали похожи на гуингмов, помните, в путешествиях Гулливера: такие лошади муд-

рые и добродетельные. Всегда руководствовались в своих поступках исключительно доводами рассудка.

Не стали похожи на гуингмов даже «философы» XVIII века. Вопреки их пылкому рационализму, доведенному некоторыми из них до абсурда, они были продолжателями средневекового хилиазма. Европейское общество слишком долго жило ожиданием нового неба и новой земли, чтобы удовлетвориться образцами мудрости и гражданских добродетелей древних. В иудео-христианской цивилизации миф вечного возвращения был навсегда вытеснен обетованием Нового Иерусалима. И так же, как в средневековом хилиазме сталкивались несколько противоположных представлений о тысячелетнем царстве, так и в идеологии французской революции: одно звало к евангельскому в своем происхождении идеалу свободы, равенства и братства, другое к истреблению «врагов народа», к борьбе с «гидрой», к «святой» гильотине, к диктатуре якобинцев, к революционному империализму. Но во всяком случае только обещание полного преображения человека и общества превратило идеологию французской революции в своего рода новую мировую религию. Так же и марксизм. Его сделали опиумом для народа, действующим еще и теперь, не многотомные исследования экономических и социальных условий в капиталистических промышленно развитых странах в прошлом веке, а все та же, только замаскированная видимостью научности, мессианская вера, которая вдохновляла эгалитарно-коммунистические движения средневековья.

Словарь для перевода с языка революционного хилиазма на язык марксизма составить нетрудно. Это не раз уже делалось. Мессия — Маркс. Остальные протагонисты эсхатологической драмы все те же. Господа, попы, купцы, промышленники — по-прежнему воплощение сил зла, только теперь они называются

не слугами Антихриста, а буржуями и лакеями капитализма. Капитализм — новый Вавилон. Он должен быть разрушен, сметен с лица земли. Это сделают бедняки, новый избранный народ, по-марксистски — пролетарии, рабочий класс. «В наши дни все дома отмечены таинственным красным крестом. Судья — это история; исполнитель приговора — пролетарий».

Диалектически пролетариат — отрицание буржуазии. Что это значит? Ведь дело тут идет не о головной диалектике, а о диалектике социальной жизни. Отрицание буржуазии по такой диалектике не может значить ничего другого, как ликвидацию буржуев и полубуржуев, уничтожение их в застенках органов или в лагерях медленной смерти архипелага ГУЛаг. Сталинщина не была поэтому чем-то случайным. Все попытки объяснить ее особыми историческими условиями, или тем, что у Сталина был подозрительный и жестокий характер, или тем, что русские — прирожденные рабы и палачи, несостоятельны. Сколько бы нас не уверяли, что Маркс был в сущности большой либерал, внутренняя логика марксизма непременно ведет к массовому террору. Мировая революция — коммунистический Армагедон. Новые отношения между людьми сложатся только после того, как в «последнем и решительном» бою будут окончательно добиты остатки враждебных классов, тогда кончится эксплуатация человека человеком, место правительства заступит распоряжение вещами и руководство процессами производства, и никакого отчуждения больше не будет, даже никто больше не будет совершать антисоциальные поступки, разве только психи. (Предопределение специальных психиатрических больниц).

Итак: под наукообразной облицовкой структура марксизма воспроизводит архетип средневекового революционного хилиазма. Но это там, где коммунисты еще не захватили власть. В странах же, где они правят,

проявляется другая, прямо противоположная сторона марксизма: на язык современных понятий переводится не идеология средневековых коммунистических движений, а феодальная реакция на эти движения. Для отвода опасности социальной революции правящие классы феодального общества хотели навсегда его заморозить, хотели остановить время, остановить историю. Трехъярусная феодальная иерархия — высшее духовенство, владетельная знать, подлый народ — установлена, мол, самим Богом по образу небесной иерархии ангелов. Поэтому она такая же совершенная, священная, вечная. Всякая попытка ее изменить — греховна, преступна, посягательство на богоустановленный порядок. Восход класса торговой и промышленной буржуазии — дело демонических сил. Защитник одинакового на небе и земле феодального строя от натиска алчных слуг Антихриста — рыцарь. Рыцари «храбры, светлы душами», осенены славой почти уже ангельского чина. Архангел Михаил — первый рыцарь. В предвечной драме борьбы Бога с дьяволом, добра со злом, рыцарство — Божье воинство. Галаад уподобляется Христу.

Рыцарский роман живет мессианским и апокалиптическим вдохновением всей средневековой мысли. Во многих куртуазных поэмах отразилось христианское убеждение, что все люди равны, все произошли от Адама и Евы и дети одного Отца Небесного, подлинное благородство поэтому — благородство не крови, а сердца. В этих поэмах еще сохранилась память, что Христос отождествлял себя с бедными, голодными, больными, заключенными в темнице, называл их своими меньшими братьями. При посвящении рыцарю вручают обоюдоострый меч: одно лезвие на сильного, если тот обижает слабого, другое на богатого, если тот теснит бедного. Ивен освобождает 300 порабощенных и голодных дев-прядильщиц.

Рыцарский идеал — одна из самых светлых и неугасимых звезд в ночи истории человечества. Прошло столько веков, а его преображающая и возвышающая сила все еще действует в мире. Ему мы обязаны большинством наших благородных чувств и непостыдных поступков. Без Дон Кихота и пушкинского рыцаря бедного, имевшего «виденье, непостижное уму», наша жизнь была бы мельче, ничтожнее, безнадежнее. Другой вопрос — смог ли этот идеал действительно переродить человека, и было ли рыцарское средневековье на самом деле рыцарским? Ответить на это чрезвычайно трудно.

Рыцарский идеал родился из усилий церкви очеловечить свирепую воинственность завоевателей-варваров. Как представить себе эту невероятную трудность: проповедовать идеал любви, мира и Божьей абсолютной справедливости сдвинутым с мест племенам, для которых ежегодная «сезонная» война была главным средством существования. Убежденные, что власть, и богатство, и рабы добываются мечом, они не делали различия между войной и разбоем и не знали других добродетелей, кроме храбрости в бою и верности вождю. Как сделать из них рыцарей-христиан? Удалось ли это церкви? И да и нет.

По сравнению с варварскими временами Меровингов нравы правящего слоя несомненно смягчились. В феодальном мире многие всей жизнью стремились исполнять рыцарские заповеди. Рыцари «без страха и упрека» — не выдумка. Они оставили бессмертные примеры благородства души и великого героизма. Рыцарь-тамплиер в одиночку принимал бой с сарацинами, сколько бы их ни было. В XIV-XV веках рыцарская агиография занимает такое же место, как жития святых. Жизнеописания маршала Бусико и других принцев, баронов и рыцарей повествуют не только об

их военных подвигах, но и об их добродетелях и набожности. Некоторые хронисты сомневаются даже, возможно ли найти такие великие добродетели среди вилланов, к которым они причисляли даже самых богатых бюргеров.

Но, как всегда, — много званых, мало избранных. Другие памятники тех времен свидетельствуют о зияющем разрыве между рыцарским идеалом и жестокой действительностью феодального общества.

Роджер Бэкон пишет: «Принцы, бароны и солдаты, если только они не обрушиваются на бедный народ с бесчисленными незаконными поборами, нападают друг на друга и друг друга грабят. Князья и короли поступают не лучше».

Хорошо, это Бэкон, выдумщик всяких опасных новшеств, ему все снилась несбыточная Христианская Республика и он осуждал весь существующий порядок. Но вот что говорит певец феодального общества, знаменитый Фруассар: «Не будь духовенства, высокородные принцы, короли, князья, графы и все владетельные не умели бы жить и были бы как животные».

Непрерывные феодальные войны велись с бесчеловечной жестокостью. Победители опустошали владения врага, грабили, пытали и убивали жителей. Пленных, кроме тех, за кого можно было получить богатый выкуп, случалось, убивали, и своих кормить трудно, или отпускали, но предварительно изувечив. В книге картин из жизни рыцарей, что появилась во времена Карла Смелого и Максимилиана, последнего рыцаря, один из рисунков изображает нападение рыцарей на деревню. На переднем плане рыцарь убивает лежащего на земле крестьянина, другой бьет закованного оборванного крестьянина по голове. Конные сержанты поджигают дом, один угоняет скот и бьет крестьянку, которая пытается ему помешать. Да и в

мирное время многие рыцари развлекались не только охотой, турнирами и куртуазной любовью. Они тешились и другими забавами: грабили паломников и своих собственных крепостных. Один знаменитый трубадур пишет: «Крестьянин свинья и живет, как свинья... никто не должен жалеть крестьянина, когда его сеньор отнимает у него последнее и ломает ему руки и ноги».

Средневековые люди воспринимали рассказ о многострадальном Иове как рассказ о их собственной жизни. Во всей Библии для них не было более знакомого события. Врагов, которые по наущению дьявола убивают отроков Иова и угоняют его ослов и верблюдов, обычно изображали в рыцарских доспехах.

Иконография тех веков часто помещала рыцаря в латах в первом ряду грешников в аду.

Пушкин в «Сценах из рыцарских времен» так описывает отношения между рыцарями и крестьянами в XIV веке: для рыцарей восставшие крестьяне — «подлый народ», «подлые твари», а для крестьян рыцари — «кровопийцы! разбойники! гордецы поганые»!

Когда вспыхивали мятежи, крестьяне расправлялись с рыцарями с беспощадной жестокостью. Убивали их и их жен с ужасными мучениями и надругательствами. Разоряли и жгли дома и замки. Вот что пишет один хронист о жакерии 1358 года: «Я не дерзну ни описать, ни рассказать о всех ужасах, перенесенных благородными дамами. Среди многих других «жаки» убили одного рыцаря, насадили его на вертел и поджаривали на глазах его детей и его жены. После того, как 10 или 12 из них ее изнасиловали, они хотели заставить ее есть мясо ее мужа и потом умертвили ее страшной смертью».

Французская революция смела последние пережитки феодализма. Но став новым правящим классом, буржуазия сама прониклась охранительным ду-

хом. Тизо увидел в триумфе буржуазии в XIX веке завершение исторической эволюции. Теперь уже не рыцарь, а буржуа — воплощение всех добродетелей. В незабываемых «Зимних заметках о летних впечатлениях» Достоевский писал: «...и вдруг буржуа увидал, что он один на земле, что лучше его и нет ничего, что он идеал и что ему осталось теперь не то чтобы, как прежде, уверять весь свет, что он идеал, а просто спокойно и величаво позировать всему свету в виде последней красоты и всевозможных совершенств человеческих».

Хочет остановить время и новый правящий класс в «социалистических» странах. У Георгия Иванова есть строки:

Россия, Россия рабоче-крестьянская,
И как не отчаяться,
Едва началось твое счастье цыганское
И вот уж кончается...

Анархо-эгалитарная пора большевистской революции продолжалась недолго. В «Чевенгуре» Пашинцев говорит Копенкину:

«Я вынес себе резолюцию, что в девятнадцатом году у нас все кончилось — пошли армии, власти и порядки, а народу опять становись в строй, начинай с понедельника... Да будь ты... Всему конец; закон пошел, разница между людьми явилась — как будто какой черт на весах вешал человека... Говори — обман или нет?» «Обман, — с простой душой согласился Копенкин».

Обман — ключевое слово «Чевенгура». Вместо жданного чевенгурцами «окончательного счастья жизни» и «государства житейского довольства и содружества» пришел иерархический, беспощадный, тоталитарный строй. Никакой уравниловки, никакой сво-

боды. И этот строй объявляется совершенным, установленным навсегда. Всякая попытка его изменить — предательство, ревизионизм, переход на сторону капитализма.

«Новый класс» так же, как феодальные правящие классы, ненавидит новшества и боится прогресса даже в науке, и это несмотря на свое будто бы научное мировоззрение. Еще не так давно теория относительности считалась в Советском Союзе идеалистической фантазией, кибернетика — буржуазной псевдонаукой, копенгагенская школа — чертовщиной. Даже из теории Павлова, официально противопоставленной фрейдизму, принималось только то, что можно было согласовать с партийной догмой. Пример показал уже Энгельс: по идеологическим соображениям он обозвал Ньютона «индуктивным ослом» и отверг два величайших научных открытия своего времени: второй закон термодинамики и теорию естественного отбора.

Правда, когда Капица довел до сведения Сталина, что если не дать ученым права пользоваться теорией квантов, то советской атомной бомбы не будет, физиков и математиков оставили в покое. Но классическая генетика и молекулярная биология были «реабилитированы» только после XX съезда. Да и по сей день ЦК КПСС строго следит, чтобы советские ученые не поддавались соблазнам идеалистических теорий буржуазных ученых. Несчетное число советских ученых стали жертвой марксистского мракобесия: одни подверглись участи Джордано Бруно, другие участи Галилея.

Создала «социалистическая» цивилизация и свой образец героя: беспощадный чекист, Павлик Морозов, член партии, наделенный, как прежде рыцарь или буржуа, легендарными добродетелями, правда, другими и часто не соответствующими общечеловеческой морали. Михаил Геллер в книге «Концентрационный мир

и советская литература» так пишет о повести А. Серафимовича «Политком»: «Давая пролетария-коммуниста крупным планом, писатель доводит идеализацию до обожествления, лишая героя индивидуальных черт, наделяя его чертами ангельскими». Геллер не преувеличивает. В подтверждение своих слов он приводит из повести Серафимовича невероятную выдержку: «Политком... как Бог, без пятнышка, стало быть всегда в первых рядах... Другой может устать, политком — нет. Другой захочет выпить, ну, душу немного отвести, это же естественно, политком нет. Другой поухаживает за женщиной, политком — нет. Другой должен поспать 6-7 часов в сутки, политком бодрствует 24 часа в сутки».

Современный коммунизм — двуликий Янус. Об этом часто забывают.

Сегодня страны, где правят коммунисты, — самые реакционные, тоталитарные, неподвижно застывшие, неспособные к преобразованиям и развитию. Да и какое может быть диалектическое развитие в обществе, где больше нет, так во всяком случае утверждается, классовых противоречий. Чевенгурцы правильно это почувствовали: с победой коммунизма история кончилась, время остановилось. Но на страны, где коммунисты еще не захватили власть, марксизм продолжает надвигаться в своей революционной форме, как расплавленная лава, как новая мессианская религия, как социальный миф небывалой еще взрывчатой силы.

Чем объясняется безумное ослепление людей, которые не верят, что, когда эта лава застынет, из нее образуется тоталитарный архипелаг ГУЛаг. Борьба с этим ослеплением обречена на неудачу, если не понять, что марксизм, пусть и обманно, отвечает надежде, принесенной в мир две тысячи лет тому назад.

Так же, как средневековый анархо-хилиазм, и так же, как идеология Французской революции, марксизм

есть христианская ересь, левацкий загиб латинского христианства. По выражению отца С. Булгакова, Маркс «транспонирует на безбожный язык своего материалистического экономизма древние пророчества о Горе Божьей и мессианском царстве».

Да что же может быть христианского, хотя бы даже еретического, в учении, которое привело на практике к тоталитарной каторге?

Во избежание недоразумений: я ни в какой мере не разделяю взглядов довольно многочисленных теперь католических и протестантских священников, которые безоговорочно принимают не только все экономические и политические анализы коммунистов, но и средства, какими те стараются осуществить свой проект «освобождения» человека. В трагической мировой кунсткамере они видят только тюрьмы Пиночета, а архипелаг ГУЛаг не примечают. Всякое насилие со стороны пролетариата, говорят они, оправдано. Странные христиане! Недавно по французскому телевиденью один из них заявил: Бог открывается только в борьбе классов, долг каждого христианина бороться рядом с коммунистами против мирового капитала. Он даже возмущался, этот священник, что Бог пишется с большой буквы. Морис Клавель сказал о таких, что Христос для них только предтеча Маркса.

И все-таки о. С. Булгаков прав: марксизм — переложение на язык безбожия и материализма пророчеств о Горе Божьей и мессианском царстве.

Обетование мессианского царства справедливости, равенства и братской любви стало закваской всей иудео-христианской цивилизации. На этой закваске поднялся и марксизм. Вернее, марксизм воспользовался тем, что обетование это так долго не исполнялось.

В упомянутых уже мною «Зимних заметках о летних впечатлениях» Достоевский пишет о толпах

рабочих, виденных им в 1862 году на улицах Лондона: «...эти миллионы, оставленные и прогнанные с пиру людского, толкаясь и давя друг друга в подземной тьме, в которую они брошены своими старшими братьями, ощупью стучатся хоть в какие-нибудь ворота и ищут выхода, чтобы не задохнуться в темном подвале...»

Перед этим Достоевский говорит:

«И вы чувствуете, глядя на этих париев, что еще долго не сбудется для них пророчество, что еще долго не дадут им пальмовых ветвей и белых одежд, и что долго еще будут они взывать к престолу Всевышнего: доколе, Господи!»

И вот приходит Маркс и говорит: не взывайте к Господу, его служители на земле всегда на стороне тех, кто бросил вас в подземную тьму. Они одурманивают вас опиумом религии, если на земле вы будете безропотно им покоряться — обещают вам в награду «небесные сласти». Но не отчаивайтесь: надежда, которой вы жили вот уже почти две тысячи лет, скоро исполнится: по железным законам истории приблизилось другое общество, более справедливое, братское и свободное, и это от вас зависит ускорить его приход; надо только устроить революцию, национализировать средства производства, ликвидировать враждебные классы, передавить как вшей всех злобных старушонок-процентщиц, и тогда во мгновение ока все изменится: кончится эксплуатация человека человеком, между людьми сложатся новые отношения, каждый будет получать по потребностям, произойдет знаменитый прыжок из царства необходимости в царство свободы.

Но ведь это обман, скажете вы, утопия, которая ведет на самом деле к архипелагу ГУЛаг.

Да, конечно, обман. Обман в наши дни тем больший, что на либерально-демократическом Западе рабо-

чие, с тех пор как их видел в Лондоне Достоевский, уже вышли из подземной тьмы, и теперь уже не буржуи, а как раз коммунисты, когда приходят к власти, становятся «старшими братьями» и загоняют их обратно в тьму. И также обман и утопия идеи, что можно очеловечить общество насилием и массовым террором. Но тот не читал пророков и Евангелия, кто отвергает вместе с марксизмом и стремление к социальной правде, которым марксизм пользуется для своей пропаганды.

Родословная марксизма сложна и запутана. Идеи растут в истории, как заколдованный лес, непрестанно разветвляясь, переплетаясь друг с другом ветвями и корнями, скрещиваясь, порождая ублюдочные сочетания, борятся между собой и в то же время переходят друг в друга, подвергаясь непредвиденным чудовищным метаморфозам и оборачиваясь своею противоположностью. Коммунизм, например, все больше сращивается на наших глазах с посмертно торжествующим национал-социализмом.

Как найти дорогу в этом лесу? Тут все так перепутано, не прорубиться сквозь чащобу, не вылезти из споров. Ведь каждый из нас читает историю идей по-своему. Но на деле все гораздо проще: нам дана путеводная звезда, которая никогда не обманывает.

Несколько лет тому назад, выступая в венском университете, Милован Джилас сказал: «Я не критикую коммунистическую утопию как таковую... утопия полезна, так как человечество не может выжить без идеала общества более справедливого и более свободного. Но когда утописты захватывают власть и пытаются осуществить утопию насилием, тогда получается прямо противоположное идеалу».

Это очень близко к тому, что говорил Лев Толстой о Французской революции. 20 августа 1904 года он записывает в своем дневнике: «Читал историю Французской революции, становится несомненно ясно, что основы революции (на которые так несправедливо нападает Тэн) несомненно верны и должны быть провозглашены... ошибка была только в том, что провозглашенные принципы предполагалось осуществить так же, как и прежние злоупотребления: насилием».

Другими словами: не провозглашение прав человека, свободы, равенства и братства — зло, ведь это глаголы Нового Завета, а зло, когда к ним прибавляют еще два слова: «или смерть!»

Никогда не прибавлять к оглашению своего идеала слов. Более того, никогда не говорить ничего, что может натолкнуть кого-нибудь на мысль их прибавить, — вот необманная нить Ариадны.

Ни революционеры, ни контрреволюционеры обычно не хотят этого знать. Огульные антимарксисты делают еще другую ошибку. Они отвергают не столько даже средства, какими коммунисты пользуются для осуществления своего проекта, сколько самый этот проект, весь без разбора, и вместе с ним и все, что в него вошло от христианства: вселенскость, веру в человеческое действие, веру в возможность очеловечить общество и мир, обетование братства. Огульные антимарксисты не способны поэтому противопоставить марксизму подлинную альтернативу. Они похожи на игрока, который сам отдает противнику все козыри, а потом удивляется, что тот выигрывает.

Для действительной борьбы с марксизмом нужно противопоставить ему не отрицание огулом, а соравный

проект общества более свободного и братского, решительно отвергая при этом все то, что в марксизме ведет к Чевенгуру и к архипелагу ГУЛаг: непонимание абсолютной ценности личности, непонимание неприкосновенности прав и свободы человека, насилие, террор.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

«НОВЫЙ ГРАД»

И на этой горе Господь Саваоф устроит для всех народов пир из тучных яств, пир из вин не перебродивших, из яств сочных, из вин, очищенных от дрожжей. И на этой горе Он уничтожит покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах. И смерть будет уничтожена навеки...

(Книга пророка Исаии, гл. 25, 6-8)

Журнал «Новый Град» был основан в Париже в 1931 г. И. И. Фондаминским, Ф. А. Степуном и Г. П. Федотовым. Он мало кому пришелся по душе. Солидаристы, поначалу, не делали никакого различия между «Новым Градом» и другими пореволюционными течениями — для них все это были большевики. Валили всех в одну кучу и публицисты другого лагеря. Так, в юбилейном издании своих «Очерков по истории русской культуры» П. Н. Милюков писал по поводу «Нового Града»: «Новые идейные настроения были закреплены неудачей первой революции и подогреты катастрофой, к которой привела вторая. Реакция против революционности, максимализма и космополитизма руководящей части интеллигенции приняла здесь форму рецидива славянофильства. Возрожденный «идеализм» был противопоставлен «материализму», православие — «безбожию», мистика — рационализму. Мораль и эстетика выдвинуты против права, эти-

ка — против науки, национализм — против космополитизма, традиция — против революции, личное самоусовершенствование — против усовершенствования учреждений, «общение с Богом» — против общественного служения, конец мира — против бесконечного прогресса, предание «Москвы — третьего Рима» — против Петровской «европеизации», максимализм «Вех» и «Нового Града» — против максимализма «Народной воли» и «Искры».

Данная Милюковым общая характеристика пореволюционных течений в приложении к каждому из них в отдельности оказывается неверной. Так, евразийство, национал-максимализм и младоросское движение вовсе не выдвигали традицию против революции, а как раз хотели соединить традицию с приятием революции, идущим, во всяком случае, гораздо дальше «Последних новостей». Особенно же неправ Милюков в отношении «Нового Града», вовсе не противопоставлявшего мораль и эстетику — праву и науке, «общение с Богом» — общественному служению и т. д. И если многие участники «Нового Града», вероятно, действительно не принимали веры в прогресс, в том смысле, в каком понимался прогресс рационалистами XIX века, то они не только не проповедовали «конца мира», а наоборот, решительно отгораживались от идеи внеисторической и внекультурной эсхатологии.

Бесконечное многообразие религиозного опыта обычно классифицируется по признаку принадлежности к определенному догматическому вероучению и соответствующей церковной организации. Наряду с такой классификацией возможно и необходимо различать часто совсем разные мистические устремления, даже среди людей, формально исповедующих одну и ту же веру и участвующих в одних и тех же ритуалах. При таком подходе в историческом христианстве определенно обнаруживается сосуществование двух

разных тенденций, почти что двух разных религий — религии милосердной, сострадательной и деятельной любви, требующей полной самоотдачи и веры в человеческое действие, и едва ли не противоположной ей, по существу близкой к буддизму, религии мироотрицающего аскетизма и эсхатологического трансцендентализма, в котором, по словам С. Булгакова, «гаснут все земные огни и уничтожаются все земные ценности, остаются же только личные заслуги и грехи, с их потусторонними эквивалентами в виде награды и наказания, принимаемых каждой отдельной личностью, без мысли об общем человеческом деле в истории». Преобладание этой второй тенденции в Средние века и привело к катастрофе Возрождения и Просвещения, когда реакция против аскетизма и эсхатологического нигилизма в отношении истории и культуры приняла характер реакции против христианства вообще.

Эсхатологические настроения были очень сильны в эмиграции, и возрождение религиозного чувства часто принимало опасную форму возвращения к средневековому пессимизму. Однако, «Новый Град» именно в борьбе с этой тенденцией видел одну из главных своих задач. В номере первом «Нового Града» Г. П. Федотов писал: «Для нас, похоронивших отечество, мысль об апокалипсисе культуры, будящая столько отзвуков в русской душе, особенно искусительна. Она может быть источником мстительного и бессильного удовлетворения.

Не поддавайтесь ей! Быть с теми, кто готов бороться, готов странствовать — не в пустыню, а к Новому граду, который должен быть построен нашими руками, из старых камней, но по новым зодческим планам».

У «Нового Града» было два учителя: Владимир Соловьев, который хотел создать «христианство живое, социальное, вселенское» и соединить религию с

либерализмом и научно-социальным прогрессом, и Николай Федоров. В его «Общем деле» глубокое христианское вдохновение соединялось с «просвещенской» верой в науку и в призвание человека овладеть силами природы. Ему открылось, что эти две веры, казавшиеся русской интеллигенции несовместимыми, на самом деле друг друга дополняли. Напомню, в который раз, слова Бергсона о драме Возрождения и о первых шагах демократии, науки и машинизма: «В Средние века христианский идеал был, как звезда, всегда обращенная к людям одной и той же стороной. Теперь люди начали видеть другую сторону, не всегда отдавая себе отчёт, что это та же самая звезда». Федоров видел обе стороны. Поэтому его так долго не понимали.

Отец Сергий Булгаков указал в «Новом Граде» на огромное значение Федорова. Вот несколько выдержек из этой его статьи: «Научное естествознание и техника раскрывают перед человеком мир как безграничные возможности. Глухая и косная бесформенная материя делается прозрачна и духовна, становится человеческим чувствилищем и как бы отелесневается. Этим выявляется космизм человека, его господственное призвание в мире... В хозяйстве мир дематериализуется, становится совокупностью духовных энергий. Поэтому, между прочим, изживание материалистического экономизма само собой совершается на пути дальнейшего хозяйственного же развития, которое все больше сокращает область материи, превращая ее в человеческую энергию: мир становится мирочеловеком...

Философы много истолковывали мир, пора его переделать, — мир дан не для поглядения, все трудовое, ничего дарового, — так почти одновременно в разных концах Европы и на разных путях выразили одну и ту же мысль два философа хозяйства — К.

Маркс и Н. Ф. Федоров. Этот колоссальный всемирно-исторический факт хозяйственного покорения, очеловечивания и в этом смысле преобразования (хотя еще и не преображения) мира — уже обозначился, хотя пока и не совершился в истории. Он стоит и перед нашим религиозным сознанием, требуя для себя духовного уразумения, догмата... о хозяйстве... Н. Ф. Федоров своим «проектом» преображения мира и победы над смертью путем «регуляции природы» сделал впервые попытку религиозно осмыслить хозяйство, дав ему место и в эсхатологии.... Царство будущего века совершается человечеством в регуляции природы... Остается признать, что не пришло еще время для жизненного опознания этой мысли, — пророку дано упреждать время. Но в этом «учителе и утешителе» совершилось «движение христианской мысли» (Владимир Соловьев), в нем впервые вопросило себя христианское сознание о том, о чем спрашивает эпоха и что говорит Бог в откровении Эпохи. Федоров понял «регуляцию природы» как общее дело человеческого рода, сынов человеческих, призванных стать сынами Божьими, как совершение судеб Божьих...»

Имя Федорова упоминается и в нескольких других статьях «Нового Града», повторяется и его мысль: «мир дан нам не для поглядения, а для делания». Не Маркс и не Федоров первые об этом сказали. Уже Фрэнсис Бэкон писал, что недостаточно знать мир — нужно его переделать. Вся европейская научно-техническая революция, начавшаяся в XVI веке, была вдохновлена этой идеей. Значение Федорова было, таким образом, не в первооткрытии этой идеи, а в утверждении ее мистического христианского происхождения.

Не все новоградцы полностью разделяли федоровскую веру в науку. Духовная и социальная сторо-

на его учения им была ближе, чем его пророческое видение космического значения научного прогресса. Отталкиваясь от плоского сциентизма XIX века, они не расслышали слов Бергсона о том, что «мистика призывает механику», не заметили слагавшееся в те годы учение Тейар де Шардена, хотя Бердяев с ним встречался. (Тейар интересовался православными мыслителями. Он находил у греческих отцов церкви, особенно у Иринея, представление о прогрессе, поразительно близкое к современному).

Новоградцев можно упрекнуть тут лишь в недостаточной внимательности. Во всяком случае, новоградцы стремились не к восстановлению средневекового аскетизма, а к основанной на христианской идее общественной реформе. В первом номере «Нового Града» Федор Августович Степун писал: «Все мучающие современность тяготы и болезни связаны в последнем счёте с тем, что основные идеи европейской культуры — христианская идея абсолютной истины, гуманистически-просвещенская идея политической свободы и социалистическая идея социально-экономической справедливости — не только не утверждают своего существенного единства, но упорно ведут озлобленную борьбу между собою... Выход из этого положения — в органическом, творческом сращении всех трех идей».

В одном из следующих номеров, говоря о «просвещенстве» как о своего рода вере, Ф. Степун признает даже, что эта вера, «взращенная в Европе героической борьбой буржуазии за освобождение всех творческих сил человека и всех областей творчества из-под власти средневековой лжетеократии, была в свое время живою, творческою, а во многом даже и религиозно положительной силой».

В этом сращении всех трех идей европейской культуры «Новый Град» оставлял позади вековой

междоусобный спор двух враждующих лагерей русской интеллигенции — западнического, в самом широком смысле, и славянофильского, в самом широком смысле. В развитии русской идеи это был важный шаг вперед.

Что помогло сделать этот шаг? Вспомним прошлое главных идеологов «Нового Града». Почти все они принадлежали прежде к ордену русской интеллигенции. И. И. Бунаков-Фондаминский был эсером, С. Булгаков, Н. Бердяев и Г. Федотов прошли через марксизм. В отличие от многих других покаявшихся интеллигентов, они и после религиозного обращения сохранили верность нравственному, христианскому по своему происхождению, вдохновению ордена. Для них социализм был, по выражению Федотова, «блудным сыном христианства», который возвращался теперь в отчий дом. Естественно поэтому, что они пришли не к христианству аскетического отрицания мира, а к христианству социальному. Бердяев писал: «Сведение христианства к личному совершенствованию и личному спасению есть страшное сужение христианства и, в конце концов, его извращение. Изолирование личных актов, направленных на победу над грехом и на достижение личного спасения, от актов социальных, направленных на изменение общества и на достижение всеобщего, социального и даже космического спасения, есть невозможная абстракция и эгоизм. В строгом смысле личное спасение невозможно, спасаться можно только с другими людьми и с миром».

Говоря о «черном» христианстве пустынножительства, Г. П. Федотов в той же книжке журнала писал: «Такому исходу противостоит положительная социальная активность, благое христианское противление злу — в древней, домосковской Руси и на средневековом Западе. А еще глубже в прошлом — социаль-

ная трагедия раннего христианства и греческих отцов, мессианская проповедь Спасителя и все, никогда не стареющее, содержание пророческого откровения Ветхого Завета. Нет, откровенная религия в Израиле и в Новозаветной Церкви была социальной ранее, чем стала личной; и Царство Божие было прежде Царством народа Божия, чем Царством в душе человека...»

С этим перекликаются слова Федора Степуна: «Вся особенность и относительная новизна (от абсолютной новизны — избави нас Боже) новоградского сознания в том только и заключается, что оно отстаивает религиозное начало как силовую станцию по оборудованию здешней жизни».

Почему же Милюков говорил, что новоградцы противопоставляют личное самосовершенствование общественному служению? Объяснить эту странную ошибку можно только тем, что в своем отвращении от всякого мистицизма Милюков осуждал идеи «Нового Града» априорно, даже не пытаясь в них разобраться. Ведь для него это была только «последняя волна интеллигентского психоза».

Несправедливо обвиняли новоградцев и в том, что они будто бы недооценивали формальную демократию. Утверждение личности и демократии было поставлено во главу угла всех новоградских реформаторских замыслов. Проф. Н. Лосский пишет: «Если верховная норма поведения есть любовь к ближнему, то понятно, что именно герои духа не презирают людей, задавленных борьбою за существование, а, наоборот, увлекаются стремлением создать условия, облегчающие для них поднятие на вершину духовной жизни. Важнейшее из этих условий есть общественный строй, гарантирующий свободу личности. Высшая в этом отношении выработанная человеческая форма государственного порядка есть демократия».

В статье, которая была в сущности манифестом «Нового Града», Федотов говорит: «Против фашизма и коммунизма мы защищаем вечную правду личности и ее свободы — прежде всего, свободы духа. Вынужденная поступиться многим в своей экономической свободе ради спасения целого, ради возможности общего дела, личность сохраняет свое нравственное достоинство в глубине своей совести, своей мысли, своего духовного творчества. Это признание свободы личности отделяет нас от большинства так называемых пореволюционных течений русской политической мысли, с которыми нас роднит общее понимание политического кризиса и воля к новой жизни. В охране свободы, как драгоценного завещания XIX века, мы занимаем позицию консерваторов».

«Новый Град» не только защищал идеалы демократии, но нашел для их проповеди новые вдохновенные слова, каких уже не находили представители старых демократических партий. Как пример, привожу выдержку из статьи Б. П. Вышеславцева: «Принцип демократии, наперекор словесному смыслу, вовсе не есть власть народа и власть большинства. Принцип демократии: правовое государство и автономная личность. Иначе говоря, ее принцип есть отрицание простого приказа, отрицание пассивного повиновения, отрицание всяческой диктатуры и утверждение свободы и, прежде всего, субъективных, публичных прав. Основные формы современной демократии, несомненно, обеспечивают эти ценности, и их не обеспечивает никакой другой строй: ни самодержавие, ни абсолютная монархия, ни прямое народоправство античных республик или Новгорода, ни, конечно, все формы современных диктатур.

Ценность свободы совести, свободы слова и свободы союзов — бесспорна с христианской точки зрения, ибо прямо выросла из христианства. Она есть цен-

ность, лежащая в основе свободного общения духов, в основе духовного единства и, следовательно, в основе соборности и любви. Лишить человечество одной из этих свобод — значит лишить его возможности осуществить соборность и проявлять любовь, иначе говоря, стремиться к воплощению Царства Божия. Эти ценности, защищаемые современной демократией, суть вечные ценности, которые, с христианской точки зрения, перейдут в Царство Божие. Они уже содержатся в самой идее царства Божия, ибо оно есть свобода, общение и союз».

Из сотрудников «Нового Града» только Бердяев продолжал говорить о демократии если и не с ненавистью, как в «Новом средневековье», то все-таки с непонятной враждебной предвзятостью. «Новый Град», — писал он, — делает большую ошибку, связывая ценности личности и свободы с преходящими принципами либерализма и демократии... Либерализм есть извращение и компрометирование принципа свободы, он на практике означает уничтожение реальной свободы человеческой личности во имя формальной, отвлеченной свободы».

Бердяеву очень сдержанно, но твердо и с ясностью, не оставляющей сомнений, ответил Федотов. Вот его основные доводы, которые до войны далеко не всем казались убедительными и которые, по моему мнению, «эмигрантские сыновья» должны были бы заучить наизусть: «Есть много верного в критике демократии Н. А. Бердяева. Во-первых, чрезвычайно слабо идейное обоснование и обеспечение свободы в современной секулярной демократии, во-вторых, весьма несовершенна ее политическая организация. Но остается фактом, которого нельзя вытравить никакой диалектикой, что никогда в истории мира реальная (а не только формальная) свобода личности по отношению к государству не была столь значи-

тельна, как в демократии XIX века. Не в буквах конституции, а в действительности свобода веры, как и свобода слова, свобода науки и искусства были обеспечены, если не всегда и не во всем (католическая церковь во Франции!), то лучше, чем где бы то ни было. А принимая во внимание реальность угрозы, нависшей над этой свободой и уже уничтожившей ее в половине культурного мира, — мы считаем несправедливым и вредным отмежевываться от нее как буржуазной и «либеральной»... Что касается обоснований этой свободы, то мы не должны забывать, что, помимо секулярных и для нас непригодных теорий, существует давняя христианская традиция либерализма (демократии): в Англии — с XVI века до наших дней, во Франции — от Ламеннэ и Лакордера, в России — от первых славянофилов (с неясностями и перебоями), от В. Соловьева со всей определенностью».

По сути к этой статье примыкает и ответ Федотова на обвинения, идущие из другого лагеря. Возражая Устрялову, он пишет: «Устрялов справедливо чувствует в защите свободы главный жизненный нерв «Нового Града» и, возвращаясь еще раз к этой теме, нападением на свободу заканчивает свою статью. Сам он принимает только метафизическую свободу, сочувственно цитируя слова Безухова в обстановке французского плена: «Связать меня, мою бессмертную душу!» — Философское утверждение этой высшей метафизической свободы не имеет ничего общего с апологией свободы политической». Нет, имеет, г. Устрялов, хоть связь политической и метафизической свободы не является непосредственной. Связью и посредством между ними является свобода исповедания, свобода исследования и проповеди истины, без которой нет человеческого достоинства, — по крайней мере в христианстве. Великодушно уступая метафизическую свободу, вы обрекаете героев на мученичес-

тво, а массу на отступничество и предательство истины».

В следующих номерах «Нового Града» Г. П. Федотов посвятил доказательствам связи демократического идеала с христианством две большие статьи. Это показывает, какое решающее значение он придавал этому вопросу. В первой из этих статей он говорит: «В настоящее время, когда демократия терпит крушение в большей части европейского мира, ее защита для православного богослова и социолога делается особенно трудной. Общие предпосылки христианского общежития, которыми жил XIX век, перестают быть убедительными для наших современников. Те, кто верит, как новоградцы, в их божественное происхождение, обязываются к новой апологии вечных истин».

Приведенных цитат, думается, достаточно. «Новый Град» объединял людей, обращенных к христианству не как к религии личного загробного спасения, а как к религии воплощения и милосердной любви, связывающей людей круговой порукой и зовущей к возвращению в мир для ответственного участия в деле его преображения. Новоградцы верили в человеческое действие и в возможность создания на земле общества более человечного, свободного и братского, в пределе превращающегося в «Царство Божие». За исключением Бердяева, все они считали, что это общество нужно строить на основе «формальной демократии» — тех прав и свобод, которые Алданов называет «субстанцией» демократии, и в которых новоградцы видели вечные, евангельского происхождения ценности.

В редакционной статье второго номера мы читаем: «Хотя мы пишем Новый Град с большой буквы, но мы просим не смешивать его с небесным Иерусалимом. Новый Град — это земной город, новое общество...»

Это редакционное заявление, как мы увидим, верно и неверно.

Да, новоградцы хотели строить на земле, в истории, земной град, который явился бы «социальной проекцией» христианского персонализма и в котором всякой человеческой личности было бы обеспечено «право на жизнь, на труд и на реализацию заложенных в ней творческих сил». Уже в те годы они защищали идеи хозяйственной и социальной демократии, которые начали распространяться только после войны. Некоторые из них связывали с идеей самоуправления рабочих и служащих на предприятиях также идею присоединения к парламенту экономической корпоративной палаты.

Считая демократию священным достоянием, которое нужно защищать от грозящих гибелью сил тоталитаризма, новоградцы хотели, чтобы она стала сильной. Средство к этому они видели в независимой исполнительной власти, вроде власти президента в Соединенных Штатах. Но нужно помнить: говоря о сильной, «авторитарной» демократии, способной принимать быстрые решения, новоградцы в то же время постоянно настаивали на том, что сфера свободы и прав личности при всех условиях должна оставаться неприкосновенной для государства.

Все эти реформаторские замыслы новоградцев подтверждают заявление редакции, что Новой Град — это земной град. Георгий Федотов повторяет это в № 13, почти накануне войны: «Наш град еще не тот Иерусалим, о котором пророчит Апокалипсис, и всякий, кто, под предлогом ожидания этого Иерусалима, отказывается работать над усовершенствованием или постройкой земного града, тот не с нами, тот не новоградец». Но дальше в той же статье Федотов пишет: «Нужно сказать со всей решительностью, что наше понимание апокалиптических образов и пророчеств, в

свете истории, не может совпадать с представлениями первого христианского века. Вот одна существенная поправка. Царство Божие не приходит вне зависимости от человеческих усилий, подвига, борьбы. Царство Божие есть дело богочеловеческое. В небесном Иерусалиме, который (Откр. гл. 21) завершает эсхатологическую драму, человечество должно увидеть плоды своих трудов и вдохновения очищенными и преображенными. Другими словами, этот Град, хотя и нисходит с неба, строится на земле в сотрудничестве всех поколений».

Это, совсем соловьевское, понимание Царства Божия было близко и всем другим участникам «Нового Града». Эпиграфом к журналу можно было бы поставить слова В. Соловьева: «Идея Царства Божия необходимо приводит нас (разумею всякого сознательного и искреннего христианина) к обязанности действовать, в пределах своего понимания, для реализации христианских начал в собирательной жизни человечества, для преобразования в духе высшей правды наших общественных форм и отношений, то есть приводит нас к христианской политике».

Отец Сергей Булгаков в №3 (1932 г.): «Христианство в идее Царствия Божия имеет такой всеобщий, необъятный идеал, который в себе вмещает все благие человеческие цели и достижения. Но оно имеет еще и свое обетование, которое на символическом языке Апокалипсиса обозначается, как наступление 1000-летнего Царства Христа на земле. Этот символ, который есть путеводная звезда для истории, односторонним истолкованием давно уже заперт на замок, так что считается чуть ли не особой «ересью» неприятие его господствующего истолкования, которое от него ничего не оставляет. Но это предельное явление Царствия Божия на земле, которое здесь символизировано, не только не может оставаться лишь пассивно

воспринимаемым (а идеологически даже вовсе отвергаемым) пророчеством, но должно становиться активной «утопией», упованием. Конечно, сам по себе этот символ абстрактен, но всегда наполняется конкретным содержанием как очередной шаг или достижение в истории, как зов, обращенный из будущего к настоящему».

Георгий Федотов в № 8 (1934г.): «В самом деле, идеал христианского общежития — растворение его в Царстве Божием, когда Бог будет всем и во всем. В истории обычно отношение царства Божия и царства кесаря представлялось как отношение конкретной социальной церкви к государству, или у́же, священства к царству. В церкви, как священнической организации, Царство Божие находит свое земное, хотя бы символическое, воплощение. Но если Бог обитает не только в храме, но и в каждой христианской личности, то каждая личность в своей изначальной глубине, в своем святая святых является престолом Божией славы. В последней глубине свобода человека совпадает со свободой Бога. Христианское творчество человека раскрывается, или должно раскрыться, по образу пророчества.

Вот почему христианин, отстаивая перед государством свою свободу — не только молиться, но и мыслить, творить, устанавливать нравственные связи с миром людей, — борется не только за свою собственную свободу (как либерал-индивидуалист), но и за власть Бога в мире, за Царство Божие».

Ни одна идея не оказала такого решающего влияния на историю человечества, как открывшееся впервые еврейским пророкам видение грядущего царства любви и всеобщего благоденствия, где соединятся все народы и «смерть будет уничтожена навеки». Из этого видения родилась сменившая древний миф вечного возвращения идея прогресса, необратимого движе-

ния к заветной конечной цели. Человечество впервые увидело смысл своего земного путешествия.

Новоградцы поверяли свои идеи нового общества этим видением нисходящего с неба Иерусалима. Они очистили свое сознание от ложных представлений, прежде всего от предсказаний традиционных апокалипсисов о том, что Царство Божие настанет только после истребления всех нечестивых царей и народов.

Противоречие между новым вселенским сознанием и религиозным национализмом показано в книге пророка Ионы. Иона так огорчен решением Бога спасти Ниневию, что просит смерти — «ибо лучше мне умереть». Евангелие, казалось, навсегда устранило это противоречие. Из евангельской веры рождался идеал града, открытого для всех людей. Проповедь апостола Павла, этого первого всечеловека, первого гражданина мира, покончила с последними колебаниями: «Нет уже иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского; ибо все вы одно во Христе Иисусе». (Гал 3-28).

Христианство с его мессианскими и вселенскими устремлениями становится закваской всей европейской культуры и придает ей способность к еще небывалому в истории распространению. Однако, в историческое христианство вошло и противоположное этим устремлениям средневековое дуалистическое видение мира, как места битвы между Богом и Дьяволом, и царства, как искупления немногих избранных: оно наступит только после того, как будут поражены мечом слуги Сатаны. Искажения, метаморфозы и трагическое смешение этих двух противоречивых представлений о тысячелетнем царстве определили все развитие европейских революционных движений. Обетование царства любви и братства вдохновляло и крестовые походы, и анархо-коммунистический хи-

лиазм средневековых ересиархов, таборитов, Фомы Мюнцера и «Новый Иерусалим» Иоанна Лейденского. Но для того, чтобы царство любви наступило, нужно было прежде истребить «антихриста»: сарацин, евреев, попов, монахов, купцов, рыцарей.

Но вот приходит XVIII век, век разума, век просвещения. И что же? По меткому выражению одного историка, «Философы» разрушают град Божий Блаженного Августина только для того, чтобы снова его отстроить из современных материалов. Одно подражание гражданским добродетелям древних никогда не удовлетворило бы европейское общество, веками жившее мессианскими чаяниями. Ему нужно было обещание нового неба и новой земли. Во Французской революции еще раз происходит смешение двух представлений о царстве. С одной стороны, провозглашение евангельского в своей основе идеала свободы, равенства, братства, с другой — истребление «гидры», «святая» гильотина, якобинская диктатура, революционные войны. Еще очевиднее это смешение в тотальном марксизме, с его обещанием прыжка в царство свободы. Но это царство наступит только после того, как избранный народ — пролетариат — в последней и решительной битве истребит нечестивых слуг капитала.

Если в таком тотальном марксизме еще в известной мере сохранилось, хотя и в чудовищно искаженном виде, мессианское и вселенское вдохновение еврейских пророков и христианства, то в национал-социализме оно окончательно исчезает. Остается только «избранная раса». Тысячелетний гитлеровский Рейх наступит после уничтожения царства Сатаны: католичества, капиталистического либерализма, марксизма и всех других «порождений иудаизма», и после порабощения, а еще лучше истребления, «унтерменшей» — евреев, цыган, негров, славян. «Никто не уди-

вится, — поучал Гитлер, — если в нашем народе олицетворение Дьявола, символа зла, примет телесный образ еврея».

Было бы несправедливо включить в эту цепь чудовищных метаморфоз чаемого «тысячелетия» Царство Божие новоградцев: оно одинаково противоположно как тотальному марксизму, так и национал-социализму. Общество, которое призывали строить новоградцы, — общество, открытое для всех людей. В нем не будет ни избранного класса, ни избранной расы, и его приход не потребует истребления «нисходящих» классов или низших рас. Новоградство — это возвращение к вселенскому вдохновению апостола Павла.

В первом номере «Нового Града» (редакционная статья) читаем: «Начала нового свободного порядка и справедливости, утвержденные в государственном общежитии, должны быть обеспечены и в отношении между нациями. Нации — великие личности — должны сохранить во всей полноте свободу своего творчества, но поступиться долей политической и экономической свободы, чтобы войти в общечеловеческое общение... Изолированное существование наций стало давно невозможным».

Некоторым участникам «Нового Града» эти утверждения казались все еще недостаточными. Бердяев с обычной своей страстностью пишет («Новый Град» № 7): «Я бы поставил в упрек «Новому Граду» недостаточное сознание универсалистического характера эпохи. Сейчас невозможно рассматривать изолированно судьбы стран, народов и культур и менее всего можно рассматривать изолированно русскую судьбу. Сейчас мы присутствуем при судорогах умирающего национализма, который перед смертью еще может наделать много бед. Сейчас все становится мировым, ввергается в мировой круговорот. Происходит объединение человечества, новое рождение человече-

ства. И России суждено в этом сыграть немалую роль. Русскому сознанию XIX века был свойственен универсализм, всечеловечность, и универсализм есть русская традиция... Я убежден, что национальным государствам приходит конец, хотя перед смертью они еще могут проявить себя в зловещих формах. Но мир идет к сверхнациональной федерации, к преодолению принципа суверенитета национальных государств. Национальности останутся лишь как культурные индивидуальности. И это есть благо, это желанно. С национализмом необходимо бороться, он несовместим с христианством, противоположен христианству».

Бердяев писал это в 1933 г. Он был прав и в том, что национализм еще может наделать много бед, и в том, что принцип государственного суверенитета должен быть преодолен. Теперь, когда мир, пережив войну, вступил в атомный век, все больше людей начинают понимать, что абсолютный суверенитет национальных государств — опасный пережиток и что человечество сможет разрешить стоящие перед ним задачи только объединенными усилиями всех людей. Новоградцы поняли это одними из первых. В этом возвращении к духу христианства огромная заслуга «Нового Града». Идея всечеловеческого братства издревле была близка многим русским людям. Еще в XVI веке Феодосий Косой утверждал: «Все людие едино суть у Бога, и татарове, и немцы, и прочие языцы; глаголет бо апостол: во всяком языце бояся Бога и делаяй правду приат ему есть». До Косого уже новгородские еретики ссылались на апостола Павла. А в XIX веке Достоевский утверждал даже, что «национальная идея русская есть, в конце концов, лишь всемирное общечеловеческое единение». Но Достоевский был подвержен искушениям шатовщины и припадкам злобной ксенофобии и антисемитизма. Новоградцы же до конца освободили русскую идею от раковой

опухоли человеконенавистнического национализма. Они хотели строить общество на утверждении братства всех людей и абсолютной ценности личности каждого человека.

В статье «Христианство и революция» Бердяев пишет: «Христиане как будто бы лучше и чище поняли теперь верную истину христианства, согласно которой дороже всего человек, человек с его страданиями и радостями, со своей судьбой во времени и вечности выше обществ и государств. Это есть революция в установке ценностей, но революция, которая требует изменения в отношении к средствам борьбы, которыми пользуются для осуществления целей, приближения средств к целям. И в этом все отличие христианской от нехристианской революции — христианская революция не допускает обращения с каким-либо человеком как с простым средством или с врагом, подлежащим истреблению, или как с камнем, нужным для построения здания нового общества. Это и есть христианский персонализм. Он предполагает спиритуализацию и этизацию борьбы, излечение от терзающей мир ненависти».

Читая статьи основных сотрудников «Нового Града», чувствуешь, что к решению всех вопросов человеческого общежития они подходили, помня об этой христианской революции. В № 3 журнала Федор Степун писал: «На всякий утопически-мечтательный безудерж есть только одна узда: живая любовь к ближнему, мешающая превращать его в строительный материал Царства Божия на земле».

Новоградцы, вероятно, делали ошибки в своих анализах событий и в размышлениях о будущем России, но они никогда не шли против христианской совести. Они не написали ни одного слова, которое не было бы вдохновлено добрым чувством. Новоградцы — люди доброй воли, свободные от всякого чело-

веконенавистничества. Чтение «Нового Града» оставляет поэтому необыкновенное, нравственно-укрепляющее впечатление.

В подтверждение можно привести цитаты чуть ли не из каждой статьи. Так, в первом же номере Ф. Степун пишет: «Надо твердо помнить, что большевизм наизнанку отнюдь не антибольшевизм». В следующем номере он эту мысль развивает: «Говоря о сменовеховской опасности, грозящей прореволюционным группировкам, я отнюдь не имею в виду того пути, что был сознательно выбран и до конца пройден группой сменовеховцев... То, что я имею в виду, есть нечто гораздо более тонкое и неуловимое... а тем самым и гораздо более опасное. Я имею в виду опасность заражения духом противника, которую несет в себе всякая страстная борьба. В борьбе с большевизмом очень легко обольшевичиться. Для этого достаточно хотя бы только временное согласие на большевистские приемы борьбы. Нейтральных приемов борьбы не существует. За каждой системой приемов стоит мир совершенно определенных ощущений. Согласие на большевистские приемы есть, таким образом, неизбежно и приятие в свою душу большевизма. Опасность такого бессознательного самоотравления я и называю опасностью сменовеховства».

То же отрицание большевистских средств в статье Ф. Степуна «Еще о человеке Нового Града»: «Самая страшная сущность враждебного нам большевизма заключается в том, что он не понимает инакомыслящих, что он отрицает диалог, дискуссию, свободу мнения, а потому (в качестве институционного закрепления всего этого) демократию и парламентаризм. Как можно бороться с большевизмом, следуя в этом смысле по его путям?

Все больше и больше полнится мир враждебным криком глухих друг к другу людей. В Германии от

этого в своей основе большевистского крика жить становится невозможно. Я спрашиваю, допустимо ли для эмиграции, почитающей главным смыслом своей жизни борьбу против духа большевизма и избавленной волею судьбы от той реальной политической борьбы, в которой не всегда есть время разобраться в смысле чужого мнения, усиливать своими голосами этот шум и крик глухих. Не знаю, как думают критики «Нового Града», но я лично уверен, что недопустимо. В противоположность большевизму и всем его производным, нам, эмигрантам, необходимо практически и теоретически отстаивать максимально вдумчивое и бережное отношение человека к человеку. С тоски по этой вдумчивости и бережности, с тоски по справедливости, причем не только в сфере личных, но и общественно-политических отношений, и начинается, по-моему, зарождение новоградской психологии».

Значение этих высказываний Степуна трудно преувеличить. Когда в послебольшевистской России будет издана «Памятка русского демократа», они займут в ней почетное место. Демократия в России станет возможна только при изменении всего психологического климата русской общественной жизни. Не только в подкоммунистической, но и в зарубежной России не было необходимого для демократии духа терпимости и диалога. Конечно, в эмиграции никто не имел возможности морить противников в концлагерях, но «крика глухих друг к другу людей» было немало. Обвинения, сыпавшиеся на «Новый Град» с разных полюсов эмигрантской общественности, лучшее тому подтверждение. Бердяев вряд ли преувеличивал, говоря, что коллективное общественное мнение русской интеллигенции всегда было деспотическим и в этом смысле большевистским. По словам Бердяева, «интеллигенция очень походила на секту, довольно нетер-

пимую, со своими коллективными моральными и социальными догматами». В эмиграции этим сектантским догматическим духом были одинаково одержимы и правые и левые. Неоценимая заслуга «Нового Града» — в отказе поддаваться этому духу и в стремлении к достойному человека диалогу.

Если из всех новоградских идей до будущих поколений дойдет только этот, противоположный большевистскому, принцип отношения к людям других убеждений, труд новоградцев не пропадет даром.

Как я уже говорил, один из основателей «Нового Града», И. И. Фондаминский-Бунаков, был в прошлом эсером. Придя к религиозной вере и отбросив шелуху интеллигентского миросозерцания, он не стал, однако, обличителем интеллигентской морали и до конца жизни хранил верность мистическому вдохновению ордена — той христианской «нравственной закваске», которая определила житие лучших представителей интеллигенции. Один из последних героев эпопеи Освободительного движения, Фондаминский всегда жертвовал всем идее (отдал в партию полученное от отца наследство, при царской власти сидел в тюрьме, при советской был заочно приговорен к смертной казни). В эмиграции его миросозерцание становилось все более религиозным. Он крестился в гитлеровском концлагере накануне смерти, но уже задолго до того всем сердцем принял христианство. Это обращение, так же как и у Федотова, сопровождалось отказом от многих прежних взглядов, но не отказом от духа ордена. Наоборот, он мечтает о восстановлении ордена в эмиграции и о продолжении революционной борьбы. Именно об этом он писал в первом номере «Нового Града»:

«Надо воскресить Орден — Орден воинов-монахов, пламенно верующих в правду учения и готовых на жертвы и подвиг для освобождения России. И на-

до, чтобы новые рыцари, как их отцы и деды, шли в народ — жить его жизнью, страдать его страданиями и, освещая души людей светом Истины, уводить их за собой от власти...»

Все, кто встречал Фондаминского в последние годы перед войной, чувствовали, что интеллигентский героизм без малейшего внутреннего противоречия соединялся в его сердце с христианским подвижничеством. Это не покажется удивительным, если вспомнить, что позитивизм и материализм, в готовом виде заимствованные у Запада, оставались чуждыми глубине его души, живой отголосками Нагорной проповеди. Федотов утверждал, что народническое прошлое не затрудняло, а облегчало Фондаминскому его христианское самовоспитание — «... в науке любви безбожные праведники русской интеллигенции мало чему могли научиться у современных христиан. Остался также и народнический «кенозис», та форма социальной аскезы, которой русская интеллигенция сближается с традицией русских святых».

Это поразительное родственное сходство «безбожных праведников русской интеллигенции» с христианскими святыми свидетельствует, что мы имеем дело с проявлением не двух разнородных противоположных сил, а двух дополняющих друг друга направлений первоначально единого мистического порыва. Сама смерть Фондаминского была смертью христианского мученика, безропотно и бесстрашно предстоящего перед палачами. Смерть эта была наполовину добровольной. Фондаминский мог уехать в Америку и не уехал; уже в лагере, когда его по болезни перевели в больницу, представлялась возможность спасения — друзья брались устроить ему побег. Он отказался, говоря, что хочет разделить участь обреченных евреев, своих соплеменников.

Два очень умных человека говорили мне, что не понимают этого странного решения, — ведь смерть в газовой печи никому и ничему помочь не могла. Что можно на это ответить? Всерьёз стараясь идти по пути «подражания Христу», Фондаминский не мог не помнить, что этот путь ведет в Гефсиманский сад и что Христос знал ждавшую его участь, но не захотел бежать: «Встаньте, пойдем: вот приблизился предающий меня».

Федотов первый отметил, как вольная жертвенная смерть Фондаминского придала ему сходство с древними русскими страстотерпцами: «... отказ защищать свою жизнь от убийц — яко агнец непорочен, прямо стригущему его безгласен — есть русское выражение кенотического подражания Христу. В непротивленчестве своем бывший революционер, из льва обратившийся в агнца, стал учеником — думал ли он об этом? — первого русского святого, князя Бориса».

Фондаминский мало писал в «Новом Граде», и другие сотрудники превосходили его литературным талантом, но, не будь Фондаминского, не было бы ни «Нового Града», ни всех других бесчисленных эмигрантских общественных и культурных начинаний. Возникшие его стараниями в тридцатые годы, они держались исключительно его неиссякаемой энергией, добротой и верой в человеческое действие.

В то время, как остатки демократической интеллигенции, окруженные угрюмым недружелюбием большинства эмиграции, жили закрытыми партийными кружками, Фондаминский, сохранивший в душе прежний орденский динамизм, пришел к убеждению, что нужно покончить с этой обособленностью и идти в «эмигрантский народ».

«Эмигрантские политические организации, — говорил он, — безжизненны и худосочны, ибо не связаны с народными массами. А эмигрантские массы рас-

пылены и беспризорны. Надо идти в эмигрантский народ, чтобы организовать его экономически и культурно. И надо поднять его на большую духовную высоту, которая обязательна для него, если он хочет быть передовым отрядом в борьбе за освобождение России. Тогда духовное влияние обязательно передастся из эмиграции и на родину».

С проповедью этой идеи Фондаминский выступал всюду, где только соглашались его слушать: в кружках Христианского Студенческого движения и Православного дела, у младороссов, в Пореволюционном клубе и в Союзе дворян. Не довольствуясь работой в уже существующих организациях, он создал целый ряд новых кружков, объединений, журналов, литературных и научных издательств, даже драматический театр. На фоне тогдашнего культурного оскудения эмиграции все это производило впечатление настоящего чуда. Кажется почти невероятным, что один человек мог столько сделать. При этом Фондаминский никому не навязывал своих взглядов, никому ничего не внушал, не добивался установления какой-либо «генеральной линии». Его цель была совсем другой. Он хотел пробудить у эмигрантов веру в человеческое действие, хотел создать обстановку, благоприятную для развития свободного духовного творчества, чтобы каждый мог осуществить свои творческие замыслы.

Когда Фондаминский задумал восстановить орден, среди множества других задач перед ним встала и задача привлечь в него младшее эмигрантское поколение и, в частности, Монпарнас *). Поэзия «парижской школы» и проза «молодых» вряд ли ему нравились — как у большинства «интеллигентов», литера-

*) Район Парижа и место встреч литераторов и художников в бесчисленных кафе Монпарнаса.

турного слуха у него, вероятно, вообще не было. Но мудростью сердца он понял драму отверженных монпарнасских «огарочников» и начал приглашать их к себе на собрания.

Фондаминский не удовольствовался созданием для бездомного Монпарнаса подобия клуба. Он сознавал, что единственная настоящая помощь поэтам и писателям — это дать им возможность писать и печататься. Он добивался, чтобы «молодых» печатали в тех журналах, где с ним считались; устроил для них издание собственного литературного журнала «Круг» *) и серии стихотворных сборников «Русские поэты».

Оставим в стороне вопрос о ценности собраний «Круга». Ведь это было только начало. Важно, что «Круг» явился местом первой встречи эмигрантских сыновей с орденскими людьми. Многие из нас до знакомства с Фондаминским никогда не видели вблизи «живого» эсера. Я скоро почувствовал, что человека, подобного ему, вообще никогда не видел. Он ничего не хотел для себя. Достигнув той степени религиозной серьёзности, когда человек находит в своей вере силы жить и действовать, обходясь без поддержки и принуждения со стороны общества и без людской похвалы, он жил для других, для человеческого и Божьего дела. Именно в этом, я думаю, была тайна его особенного творческого дара.

Здесь, во избежание недоразумения, нужно сделать оговорку: Фондаминский не написал ничего замечательного, никаких «памятников» после него не осталось, но после его гибели моральный и творческий уровень эмигрантской жизни трагически понизился.

«Поэты всех времен, — говорил Рамакришна, — воспевали истину и добродетели. Стали ли от этого

---

*) «Круг», Альманах, Париж-Берлин (№ 1-3), 1938 г.

лучше их читатели? Но когда между нами живет человек, отрешившийся от самого себя, его поступки становятся биением сердца добра и облагораживают даже самые посредственные мечтания людей, с которыми он вступает в общение; все, к чему он прикоснется, делается истинным и чистым, он становится отцом реальности, и созданное им никогда не исчезнет».

То, что делал Фондаминский в последние годы своей жизни — особенно его мученическая смерть, — всё это было актом творения неуничтожимой духовной реальности, актом, увеличившим на земле жизнь и добро.

Он никогда никому не читал наставлений, никогда ни от кого ничего не требовал, но его пример пробуждал, даже в слабых и порочных людях, желание в какой-то степени ему подражать. В минуты испытаний они находили в себе силы поступать так, как, они знали, поступил бы он.

В. Набоков, человек, не склонный преувеличивать хорошие качества встреченных им в жизни людей, говорит о Фондаминском: «Попав в сияние этого человечнейшего человека, всякий проникался к нему редкой нежностью и уважением». Это сияние не исчезло и после смерти Фондаминского. Когда ужас перед происходящим в мире уничтожением живых существ с особенной силой давит душу, память о его жизни и его мученической смерти спасает от отчаяния, воскрешая веру в человека и в человеческое дело. Сужу не только по себе — мне говорили об этом многие, кто его знал...

«Круг» образовали две группы, и психологически и идейно очень разные. Одна состояла главным образом из людей, близких к «Новому Граду» и «Православному делу», — проф. Н. Н. Алексеев, Н. А. Бердяев, мать Мария, К. В. Мочульский, Г. П. Федотов,

Е. Н. Федотова, Е. А. Извольская и С. П. Жаба; постоянно присутствовали на этих собраниях В. М. Зензинов, связанный с Фондаминским старинной дружбой и орденским братством, но оставшийся чуждым религиозным исканиям своего друга. Изредка бывал Керенский. К этой старшей группе принадлежали также Савельев и еще несколько человек, привлеченных Фондаминским.

Убеждения и миросозерцание всех этих людей были известны по их книгам и статьям, по всей их многолетней общественной деятельности.

Другое дело — младшая группа, Монпарнас. Из-за крайней скудости монпарнасской публицистики о настроениях «молодых» писателей судили по «Числам» *), главным образом по «Комментариям» Адамовича и еще по фантастическим слухам о монпарнасских «оргиях». Большинство друзей Фондаминского не понимали, зачем он стал приглашать всех этих «огарочников». Это еще более увеличивало трудность общения между двумя группами, и нужны были кротость и долготерпение Фондаминского, весь его упрямый оптимизм, чтобы не дать «Кругу» распасться.

«Парижская школа» была чужда «Новому Граду» не только в своих внешних проявлениях, но в самом глубинном ощущении жизни.

Если в известных кругах эмиграции рост эсхатологических настроений сопровождался страстным обращением к традиции, к вере в догматы и к храмовому благочестию, то на Монпарнасе возрождение «средневекового миросозерцания» выразилось главным образом в склонности толковать христианство в духе восточного дуализма, отрицающего мир и историю.

---

*) «Числа», Сборники под ред. И. В. де Манциарли и И. А. Оцупа, Париж, 1930-34 гг. (№ 1-10).

Нельзя представить себе ничего более чуждого, ничего более противоположного «Новому Граду», чем близкие к Маркиону, Шопенгауэру и Розанову представления о христианстве некоторых участников «Чисел».

«Есть древняя легенда, которую все знают, — говорил Адамович, — Бог не создал мир, не хотел создавать его. Мир вырвался к бытию против его воли». Отсюда «в душу закрадывается соблазн: не надо ли «погасить» мир, то есть на это работать».

Гностический соблазн имел власть и над душой другого идеолога Монпарнаса, Б. Поплавского. Он часто взволнованно и восхищенно обсуждал утверждение Маркиона, что добрый, любящий нас Бог, Отец наш Небесный, о котором говорил Христос, вовсе не был ветхозаветным, сотворившим землю гневным, ревнивым и мстительным Богом — Судией и Богом воинств. Увлечение гностикой отразилось и во многих стихах Поплавского. В «Снежном часе» он пишет:

Солнечный герой, создавший мир,
Слушай бездну, вот твоя награда.
Проклят будь, смутивший лоно тьмы,
Архитектор солнечного ада.

«Как ты смел!» — былинка говорит,
«Как ты мог, — волна шумит из мрака, —
Нас вдали от сада Гесперид
Вызвать быть для гибели и мрака». *)

На Монпарнасе никто, насколько мне известно, сознательно не следовал известной теории о том, что русское народное православие восприняло через богомильскую ересь маркионово понимание христианства

---

*) Б. Поплавский, «Снежный час», Стихи, 1931-35, Париж, 1936 г.

и что именно это определило все развитие русской культуры, начиная с былин об Илье Муромце и сказания о граде Китеже и кончая творчеством величайших русских гениев XIX века. И все-таки христианское начало русской литературы часто понималось на Монпарнасе именно в маркионовом духе.

В век, когда в христианстве обычно еще видели иудаизм, только ставший вселенским, и когда благочестие многих христиан уживалось с верностью законнической традиции, Маркион учил о противоположности Евангелия Закону. Мысль об этом, как вспышками молнии, освещается многократным повторением слов: «Вы слышали, что было сказано древним... а я говорю вам...»

Но, почувствовав сердцем, что сущность христианства — в откровении мистической любви, Маркион не понял огненной природы этой милосердной и жертвенной любви, зовущей, в отличие от всех предшествующих форм мистицизма, не к созерцанию и личному потустороннему спасению, а к творческому, преображающему мир действию. Значение этого подготовленного еврейскими пророками перехода от созерцания к действию не дошло до сознания Маркиона, и именно в этом сказалась ограниченность его религиозного гения. Несмотря не глубокое интуитивное понимание божественности и абсолютной новизны Нагорной проповеди, он в своем отвержении видимого космоса выпадал из христианства и был близок к тому, что условно можно назвать «вечно буддийской» стадией религиозного опыта.

Влияние мысли Маркиона, родившейся из глубокого чувства евангельского милосердия, но омраченной безумием отрицания мира, двойственно окрасило и весь монпарнасский мистицизм, придав некоторым стихам «парижской школы» неотразимое очарование и вместе с тем какой-то смущающий душу привкус нигилизма.

Когда редакция «Чисел» попросила Федотова высказаться о первых книгах журнала, он прежде всего отметил опасность этого увлечения гностическими мифами, подменяющими христианство «буддизмом».

«Борьба, которая ведется сейчас в мире за человеческий дух, — утверждал он, — и есть борьба между Буддой и Христом, между нирваной и вечной жизнью... И я боюсь, хоть и хотел бы ошибиться, — что тема смерти оборачивается в «Числах» темой нирваны».

То, что именно тут проходила черта, разделявшая «Новый Град» и «Числа», подтверждает и статья Адамовича, в которой он говорит о «Новом Граде» с чрезвычайной, не свойственной ему резкостью: «Еще гораздо страннее (если бы не была так давно знакома) добродетельная новоградско-утвержденская модернистическая кашка из приторно нестеровского православия и социалистических достижений, вся эта вообще революция на лампадном масле... Главное: они хотят строить реально, во времени и истории, на земле, — и не чувствуют неумолимого или — или, разделяющего христианство и будущее. Если иногда и чувствуют, то конфеток новейшего производства у них припасено достаточно, чтобы внезапную эту горечь заглушить».

Как мы видели, Милюков обвинял «Новый Град» в прямо противоположном — в выдвижении общения с Богом против общественного служения и т. п. Отвечая Адамовичу, Степун очень справедливо указал, что борьба «Чисел» против «тупости славянофильства» означала «не борьбу западников против национальной России, а, как это ни странно, скорее борьбу каких-то новых восточников, буддийствующих христиан против западничества славянофилов, против их, чуждой Востоку, мироустремленной хозяйственности и бытолюбивой плотяной тяжести».

Этому спору было посвящено и одно из первых собраний «Круга». В своем вступительном слове на этом собрании Мочульский говорил о ложности распространенного представления, что мир и христианство внутренне враждебны. Указав, что в наиболее крайней форме, близкой к манихейству, утверждал это Розанов, Мочульский старался убедить Монпарнас в несовместимости мироненавистнических настроений с духом евангельской любви.

Правда в этом споре с «Числами» была на стороне «Нового Града». Но те новоградцы, которые выводили отсюда осуждение Монпарнасу вообще, мне думается, были несправедливы. Так же, как «отцы»-позитивисты, они не умели отличить в декадентско-мистической атмосфере Монпарнаса подлинное и трагическое от болезненного и ошибочного. Они не верили в серьёзность монпарнасских «романов с Богом», и в мужестве отчаяния, с каким монпарнасцы рассматривали абсурдность положения человека в мире, и в их отказе от готовых утешений того или иного конформизма видели разложение, упадок и т. д. Впоследствии, в напечатанной в «Ковчеге» статье о парижской школе, Г. П. Федотов эту ошибку исправил. Тут нужно сделать еще одну оговорку. Монпарнас судили главным образом по «Числам». Между тем, хотя «Числа» и были журналом «парижской школы», они все-таки не отразили всего, чем жил Монпарнас, и, в частности, той неясно возникавшей на Монпарнасе идеи, о которой я говорил. К сожалению, эта идея вообще никем никогда не была высказана в письменной форме. Но именно она вдохновляла разговоры «русских мальчиков» на Монпарнасе в его лучшие часы. Именно она, в годы войны и оккупации, привела многих монпарнасских «декадентов» во французскую армию и в движение Сопротивления.

Фондаминский, единственный из всех «отцов», чувствовал зарождение этой идеи, делавшей «возмож-

ной встречу между Монпарнасом и «Новым Градом».

Интерес к общественным вопросам, усиливаемый чувством беспокойства перед надвигавшимися грозными событиями, был так силен у многих участников «Круга», что, наряду с собраниями, посвященными литературным и философским темам, стали возможны собрания политические. Постепенно образовался как бы политический отдел «Круга», призванный, по замыслу Фондаминского, стать зачатком нового ордена. К участию в этих политических собраниях он привлек и группу молодых монархистов-легитимистов, отколовшихся от младоросской партии и издававших свой собственный журнал «Русский временник». Этот монархический журнал достоин особого внимания, ибо он страстно защищал тот самый «демо-либерализм», от которого с таким презрением отворачивались и евразийцы, и солидаристы, и все пореволюционные течения.

Верность принципу легитимной монархии сочеталась в идеологии «Русского временника» с приятием «субстанции» демократии и решительным осуждением тоталитарных режимов.

В редакционной статье говорилось, что для понимания глубокого духовного и культурного кризиса, переживаемого всем миром, прежде всего нужно поставить **проблему человека:**

«Сам человек, его духовная сущность и духовная свобода стоят в нашу эпоху перед большими опасностями и соблазнами. Всюду ведется, и в дальнейшем еще предстоит, немалая борьба за самые основные качества и права человека.

По-новому при этом ставятся и религиозные проблемы. Основная ценность человека — его духовная сущность — неразрывно связана с христианством, так что общий духовный и культурный кризис человечества является в то же время и кризисом христианского сознания; оно не может согласиться с умалением

человека, и потому неизбежным является его конфликт с тоталитарными режимами, покушающимися на всего человека без остатка».

Не только эта защита человека отличала «Русский временник» от обычного монархизма. Журнал утверждал, что монархия вполне совместима с демократией, которой по существу не противоречит, но не совместима с тоталитарной однопартийной диктатурой.

Л. Н. Горбов говорит в статье «В защиту монархии»: «... определяя в основном нашу политическую позицию, мы не можем не отметить, что мы отнюдь не противопоставляем монархию демократии. Это, конечно, совершенно естественно, и если такое противоположение и имеет в некоторых кругах эмиграции силу, то в этом кроется очевидное недоразумение. Монархия, так же, как республика, может быть демократической, и республика, так же, как и монархия, может носить полицейский и произвольный характер. Мы думаем, что если в России должна быть монархия, то только демократическая. Мы, стало быть, относим себя к числу монархистов-демократов. В этой формуле мы видим наилучшее из возможных сочетаний специально русских исторических и национальных традиций с традициями, если так можно выразиться, общеимперскими. Мы, кроме того, усматриваем в формуле демократической монархии возможности соединения традиционного наследования верховной русской «власти-чести» с наиболее широкой политической и гражданской свободой.

Старая мысль, что Царь — царствует, но не управляет, в наше время произвольных и авантюристических диктатур и большой неустойчивости демократических республик, может оказаться едва ли не единственной всех примиряющей мыслью.

Отыскивая подлинный водораздел между двумя политическими полюсами наших дней, мы должны искать главный критерий в той системе идей, которая

лежит в основе внутренней политики каждого государства.

Исходя из этой точки зрения, мы прежде всего можем констатировать, что сталинизм, гитлеризм и муссолинизм — члены единой семьи, как бы три сына Ленина, по-разному преуспевшие, но обладающие самым бесспорным фамильным сходством.

В трех странах — России, Италии и Германии, — налицо диктатура. Перед этим основным фактом блекнут второстепенные различия. Концлагеря, ссылки, смертная казнь за ничтожные проступки, постоянные проверки идейной благонадёжности, единая правящая партия, вмешательство государственной власти в частную жизнь, обоготворение вождей, государственно-капиталистические приемы хозяйствования — все это одинаково характерно и для России, и для Германии, и для Италии...

Применительно к сказанному, нам, монархистам, настоятельно необходимо задать себе вопрос: по какую сторону современного политического водораздела находится защищаемый нами принцип?

Находимся ли мы в стане враждующих между собой диктатур?

Или же мы вообще протестуем против принципа диктатуры, противопоставляя ему право, законность и свободу».

Схожие мысли развивал и Лев Закутин, молодой философ и один из главных идеологов «Русского временника»: «Фашизм (и всякий вождизм), — говорил он, — противен и монархии, и демократии. Фашизм является переходным режимом, в сущности впервые примененным Лениным и характеризуемым следующими признаками:

1. Однопартийная диктатура.
2. Непогрешимость вождя.
3. Тоталитарное государство, т. е. духовный гнёт государства над личностью...

По тоталитарной доктрине все сто процентов человеческих мозгов, сердец и нервов должны принадлежать государству, то есть — на практике — правящей идеологии. Условием такого тоталитаризма и является однопартийная диктатура».

Нужно вспомнить тяготение к фашизму всей правой эмиграции и всех пореволюционных течений, чтобы почувствовать, как были удивительны эти молодые монархисты, вставшие на защиту демократии. Человеку, верящему в идеал свободы, равенства и братства, читать их высказывания настоящая радость. Мне жалко поэтому, что я не могу привести полностью другую статью Закутина, с основных положений которой должны были бы начинаться программы всех эмигрантских партий. Стараясь определить в этой статье общие черты демократии, Закутин сводит их к семи:

1. Свобода совести и культов.

2. Свобода слова, мысли, печати и научного творчества.

3. Свобода политическая — для всех, и особенно для оппозиции. Где не разрешена оппозиция, там нет демократии. Абсурдны утверждения, что, дескать, демократия дает свободу только сторонникам правящего большинства (а иногда еще добавляют — правящего меньшинства).

4. Представительные учреждения — эффективные и реальные, а не формальные и фиктивные.

5. Свободные выборы.

6. Ответственное министерство.

7. Независимые суды.

«Существенно же не то или иное отдельное установление или мероприятие, а вся *совокупность* (курсив в оригинале. — В. В.), составляющая определенный социально-психологический климат (как принято теперь выражаться).

Существуют, конечно, разновидности демократии, то есть разные способы ее осуществления. И способы эти могут быть более удачными или менее удачными, лучшими или худшими. Поэтому поиски новых форм и путей нисколько демократам не заказаны. Наоборот, парламентаризм, плебисцитарная система, региональная система, наконец, иерархическая система — все это суть разные способы, но не *сама* демократия. Их оценка — особая тема. Сейчас наша задача — схватить сущность, то общее, что присутствует в каждой форме. В конечном итоге, демократия — динамический идеал, цели которого — свобода в ее общественном аспекте.

Понятия свободы и демократии неотделимы одно от другого. И неслучайно демократия тесно переплелась с христианским гуманизмом. Для человека свобода нужна как воздух, то есть до и больше хлеба.

Совершенно несправедливо демократии приписывать анархичность. Анархия — отрицание свободы, а не максимальное ее осуществление. Если и в демократиях свобода еще недостаточно обеспечена, — вина в этом демократов, а не демократии...

Сейчас ради хлеба люди отказываются от свободы. Напрасная жертва. Свободу они теряют, но хлеба не приобретают. Ибо оказывается, что и для материального благосостояния прежде всего нужна свобода.

Революции имеют смысл в недемократических странах, когда надо клин клином вышибать. А там, где демократия уже есть, дилемма ставится так: или социальное углубление и экономическая реформация демократии, или тоталитарные и прочие опыты».

Сотрудники «Русского временника» защищали не только демократию, но и орден русской интеллигенции. Это было совсем уж удивительно со стороны молодых монархистов, воспитанных в кругу, где интеллигентов винили в гибели России и за это ненавидели и презирали. Мы, несомненно, имеем тут дело с примером так редко, к сожалению, встречающейся духовной и нравственной независимости, которая необходима, чтобы не поддаться давлению «генеральной линии», в той или иной мере существующей в любой среде. «Русский временник» не боялся иметь собственное мнение, противоречащее общепринятому. Это делает чтение журнала необыкновенно отрадным. Во всей эмигрантской публицистике не найти такого страстного исповедания демократического идеала и такой убежденной защиты интеллигенции, как в этом органе «революционной монархической мысли». Вместе со статьями Закутина и Горбова я поместил бы в антологию публицистики эмигрантских сыновей и статью Николая Вадвича «Русская интеллигенция». Привожу несколько выдержек из этой статьи, написанной не очень искусно, но проникнутой добрым и благородным духом, которого так не хватает нашей общественной жизни, — духом человеческой дружбы.

«Факты, которыми я позволю себе занять внимание читателей в настоящей статье, общеизвестны.

Тем не менее, на страницах «правой» печати, а в особенности в откровенных беседах, к ним зачастую относились с предвзятой враждебностью. Поэтому мне и показалось полезным к ним вернуться, чтобы в меру моих сил способствовать пересмотру мнений, приносящих русскому делу неисчислимый вред.

Эти ходячие мнения можно формулировать так: русская интеллигенция, интернациональная по духу и — слюнявая и бездельная по натуре, изменила Государю и погубила Россию. Опыт показал, что подпус-

кать ее к делу государственного строительства нельзя на пушечный выстрел. Согласно этому пониманию, самое слово интеллигент есть бранное слово.

Нет, русская интеллигенция не «интернациональна». Она создана историей своей страны и обнаружила в своем развитии качества своей нации — как хорошие, так и дурные. Она выдвинула ряд мировых имен во всех областях человеческого творчества. Наконец, она поставила перед всем миром проблему социальной справедливости, принеся в жертву исканию истины самоё себя, потому что грандиозный обман коммунистической партии рассеется, но раз поставленная Россией перед человечеством задача не будет оставлена не разрешенной.

Слюнява ли русская интеллигенция? — Трудно это доказать. Начиная с декабристов и кончая думскими кадетами, не проявила ли она стойкости в отстаивании своих политических верований? Стены русских тюрем и каторга могли бы многое рассказать о том, как крепок был дух этих людей, как стойки их убеждения. И если духовная сила интеллигенции растрачивалась так бесплодно, во всяком случае для сегодняшнего дня, то разве можно было ее в этом обвинять?

Легенда о бездельности русской интеллигенции также связана с общественными условиями жизни. Трудно было найти область, кроме всевозможных путей искусства, в которой общественной деятельности интеллигенции не ставилась бы препона.

Но разве русское земство, школа, больница, суд — не великолепные памятники ее деятельности?

Разве теперь, ознакомившись на практике с постановкой этих институтов в Европе, мы имеем моральное право осудить тех, кто в суровых условиях России сумел осуществить подобное чудо?

И, наконец, разве не П. Н. Милюков, — лидер кадетской партии, объединившей цвет российской интел-

лигенции, — настаивал на принятии великим князем Михаилом Александровичем царской власти? Это ли измена Государю?

Затем, — затем крестный путь Белых армий — подвиг в значительной степени той же интеллигенции.

Дворянство умерло, но интеллигенция в революционном застенке осуществила то единение с народом, к которому прежде так безнадёжно стремилась.

И те остатки ее, которые переживут лихолетье, должны быть бережно хранимы нацией, ибо в них не угас Прометеев огонь свободной культуры».

В своей прекрасной, глубокой и волнующей статье «И. И. Фондаминский в эмиграции» Г. П. Федотов высказывает мнение, что из попытки Фондаминского втянуть Монпарнас в творческую общественную деятельность ничего не вышло. «Он пробовал отобрать в «Круге» маленькую группку людей, разделяющих идеи «Нового Града» и готовых работать для них, но с самого начала в ядре будущего ордена не оказалось единства. Когда грянула война, группа разбрелась в разные стороны».

Это утверждение Федотова мне представляется неверным и несправедливым. Маленькая группа людей, отобранная Фондаминским в «Круге», в соединении с группой «Русского временника» могла бы стать средоточием для объединения эмигрантских молодых людей, веривших в правду демократии. Но было уже поздно — началась война. Все годные к службе в строю участники этого ядра будущего ордена пошли во французскую армию. Владимир Алексинский, уже после демобилизации, поступает в Марокко добровольцем в Войска Свободной Франции, участвует в боях в Африке, Италии, Франции. А. А. Угримов становится организатором и главой русской группы Сопротивления. Был расстрелян по приговору немецкого военного суда Борис Вильде, о котором Г. П. Федотов даже не упомя-

нул. Между тем смерть Вильде, такая же героическая и мученическая, как смерть Фондаминского и матери Марии, убедительно свидетельствует, что Фондаминский достиг своей цели — сумел передать эмигрантским сыновьям мистический дух орденского жертвенного подвижничества. В созданной им ячейке нового ордена, как в некой волшебной реторте, произошло чудо восстановления оборвавшегося преемства. Фондаминский — представитель «отцов»; мать Мария — представительница «литературного поколения, получившего зарядку в старой писательской среде Петербурга» (в этой среде мать Мария, в миру Е. Ю. Скобцова, по первому мужу Кузьмина-Караваева, была известна как декадентская поэтесса, автор «Глиняных черепков»); Б. Вильде — представитель младшего «денационализованного» эмигрантского поколения. Все трое умерли одинаково, как умирали всегда лучшие орденские люди, и эти три смерти говорят: «отрыв» был только на поверхности, а когда пришло настоящее испытание, эмигрантские сыновья, даже перешедшие с русского «на подобие арго», оказались на деле такими же хорошими «русскими мальчиками», какими были старшие их братья.

Я говорил уже, что настоящий Монпарнас слышал слова, с которых начиналась вся русская интеллигенция: «Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями людей уязвлена стала». Когда же пришли годы войны и оккупации, многим «эмигрантским сыновьям» стали внятны и другие вдохновляющие русскую интеллигенцию слова Радищева:

«Если бы закон, или государь, или какая-либо на земле власть подвизала тебя на неправду и нарушение добродетели, пребудь в оной неколебим. Не бойся ни осмеяния, ни мучения, ни болезни, ни заточения, ниже самой смерти... Ярость мучителей твоих разобьётся о твердь твою, и если предадут тебя смерти, осмеяны бу-

дут, а ты поживешь на памяти благородных душ до скончания веков».

Чем непоправимее Европа, расколотая на два гигантских, торопливо вооружавшихся лагеря, приближалась к катастрофе войны, тем резче обозначалось разделение на два лагеря и среди русской эмиграции.

Легко составить реестр доводов, при помощи которых каждый объяснял сделанный им выбор. Но большей частью эти доводы разума задним числом подгонялись для обоснования уже принятого сердцем трудного и мучительного решения. Одни говорили: Гитлер меньшее зло, чем Сталин. Против Сталина хоть с чёртом. Сначала нужно освободить Россию от большевистского ига, а с Гитлером потом «легко» будет справиться. Но были и такие, кому Гитлер был просто по душе. Они оправдывали свою к нему любовь тем, что он против коммунизма, но продолжали любить его и после того, как он заключил пакт со Сталиным. Они чувствовали родственность идей национал-социализма их собственным идеям. Какие бы ни заключались пакты, они «знали», что гитлеровская Германия защищает «добро» — священное национальное начало — против погубивших Россию и правящих Англией и Францией темных сил интернационального иудео-масонства.

Другие говорили: Гитлер хочет разрушить историческое русское государство, на востоке ему нужна земля, а не население. Поэтому, несмотря на большевиков, нужно Россию защищать. Большевистская власть пройдет, а Россия останется, нельзя допустить, чтобы она погибла. В победоносной войне произойдет преображение: армия, вернувшись домой, заставит власть пойти на реформы. Участники же собраний у Фондаминского принадлежали к тем русским эмигрантам, которые выбирали лагерь демократий, так как были демократами по убеждению. В грозный и трагический час

начала войны они почувствовали инстинктом, совестью, всем существом, что, если даже разговоры об английском империализме и о влиянии лондонского Сити правда, мир демократий, несмотря на все его недостатки, все-таки по сравнению с миром тоталитарным — человеческий мир, который во что бы то ни стало надо отстоять.

«По мере того, как надвигается война, русские эмигранты занимают свои места — многие и в чисто военном смысле — по разным линиям фронта. Всякое единство эмиграции при этих условиях перестает существовать. Между русскими гитлеровцами и нами такая же пропасть, как между нами и коммунистами».

Эти слова из редакционной статьи «Нового Града» (№ 14) выражали чувство не только новоградцев, но и всех эмигрантских сыновей, которых Фондаминский старался объединить вокруг «Нового Града».

Последние собрания «Круга» перед войной и в начале войны проходили с настоящим подъёмом.

Патриотическое возбуждение — обычное явление в первые дни войны, но ведь Франция все-таки не была родиной, даже для тех из эмигрантов, кто понимал её единственность и её значение для всего человеческого дела на земле. Да и в самом французском обществе в начале Второй мировой войны не было и тени воодушевления 14-го года. Теперь все знали, что война, даже победная, не несет ничего, кроме разорения, страданий и смерти, и на фронт уходили не с песнями и цветами, а со слезами и проклятьями. Откуда же тогда это оживление в «Круге», какая-то почти радостная готовность идти с французами «умирать за Данциг», за который сами французы вовсе не хотели умирать?

Мне кажется, тут возможно только одно объяснение. Приглашение участвовать в войне против Гитлера открывало перед эмигрантскими сыновьями после долгих лет беженской отверженности, одиночества и ску-

ки возможность принять участие в жизни окружающего общества, в жизни человечеста. Они были нужны, их звали на помощь, звали спасать всё, что придает жизни значение: свободу, идеал равенства и братства, всё священное наследие христианской и гуманистической культуры. В первый раз в жизни они могли доказать на деле, что, несмотря на всю свою многолетнюю оторванность от России, они были русскими интеллигентами, воспитанными в противном здравому смыслу убеждении, что цель жизни не в счастьи и успехе, а в отдаче себя делу борьбы за правду.

Русская идея, умиравшая в билибинском кокошнике на днях русской культуры и в разных переводных с немецкого романтических национально-почвенных идеологиях, еще была жива на этих собраниях у Фондаминского и волновала сердца монпарнасских «огарочников» таинственным призывом, побеждающим инстинкт самосохранения.

После известия о Бородинском сражении Ростову «все стало скучно, досадно в Воронеже, все как-то совестно и неловко» и он заторопился в армию. Так же «все как-то совестно и неловко» стало многим на Монпарнасе после объявления войны: чувство беспокойства и тоски соединялось с неясным сознанием, что уклонение от надвигающегося испытания, отказ разделить судьбу окружающих людей, судьбу Франции и всей демократии означали бы измену полуночным монпарнасским разговорам о свободе и справедливости, «о Боге вообще».

Вот почти символ — в первые же дни войны глава «парижской школы» Г. В. Адамович, скрывая порок сердца, в 45 лет записывается добровольцем во французскую армию. Адамович был не один. В дни трагических испытаний, обнаруживших, кем каждый из людей был на самом деле и что на самом деле думал, многие завсегдатаи антисоциального, «морально разло-

жившегося», презираемого добродетельной общественностью Монпарнаса доказали, что, кроме стихов декадентских поэтов, они затвердили и стихи Некрасова: «поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан».

Движение Сопротивления было начато участником «Круга» и монпарнасским поэтом Борисом Вильде.

БИБЛИОГРАФИЯ

Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. YMCA-PRESS, Paris, 1955.

О рабстве и свободе человека. YMCA-PRESS, Paris, 1939.

О социальном персонализме. «Новый Град», № 7, П., 1933.

Русская идея. YMCA-PRESS, Paris, 1946.

Христианство и революция. «Н. Г.», № 12, П., 1937.

Булгаков Сергий. Душа социализма. «Новый Град», №№ 1, 3, П., 1933.

«Былое». Журнал, посвященный истории освободительного движения.

Вадвич Николай. Русская интеллигенция. «Русский временник», № 2, П., 1938.

Волк С. С. Народная Воля. «Наука», М.-Л., 1966.

Вышеславцев Б. Социальный вопрос и ценность демократии. «Новый Град», № 2, П., 1932.

Геллер М. Концентрационный мир и советская литература. London, 1974.

Герцен А. И. Былое и думы. Огиз, Ленинград, 1946.

Горбов Л. Н. В защиту монархии. «Русский временник», № 1, П., 1937.

Гуль Роман. Дзержинский. «Мосты», Нью-Йорк, 1974.

Одвуконь. «Мосты», Нью-Йорк, 1973.

Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. Собрание сочинений в 10 томах. М., 1958, тт. 9, 10.

Закутин Лев. Фашизм, Монархия, Социализм. «Русский временник», № 1, П., 1937.

Спор о демократии. «Русский временник», № 2.
Карпович М. М. Русский империализм или коммунистическая агрессия? «Континент», № 13, П., 1977.
Козьмин Б. П. Н. Ткачев и революционное движение 1860-х годов. «Новый мир», М., 1922.
Лацис М. Возникновение Народного Комиссариата внутренних дел. «Пролетарская революция», № 2, 1925.
Ленин В. И. См. указатель к собранию сочинений.
Лосский Н. Н. Bergson. Les deux sources de la morale et de la religion. «Новый Град», № 5, П., 1932.
Маркс К., Энгельс Ф. См. указатель к собранию сочинений.
Мартов и его близкие. Сб. статей. Нью-Йорк, 1959.
Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. The Hague, Mouton et C°, 1964.
«Новый Град». Редакционная статья. № 1, П. 1931.
Платонов Андрей. Чевенгур. YMCA-PRESS, Paris, 1972.
Самосознание. Сб. статей. «Хроника», Нью-Йорк, 1976.
Солженицын А. И. Архипелаг ГУЛаг. YMCA-PRESS, Paris, 1973, 1974, 1976.
С родины и на родину. Изд. Группы старых народовольцев. Женева, 1893.
Степун Ф. А. Задачи эмиграции. «Новый Град», № 2, П., 1932.
О человеке «Нового Града». «Н. Г.», № 3, П., 1932.
Еще о человеке «Нового Града». «Н. Г.», № 4.
Ткачев П. Н. Избранные сочинения. М., 1933.
Федотов Г. П. Христианин в революции. Сб. статей. Paris, 1957.
Сумерки отечества. «Новый Град», № 1, П., 1931.
Демократия спит. Ответ Н. А. Бердяеву. «Н. Г.», № 7, П., 1933.
Основы христианской демократии. «Н. Г.», № 8, П., 1934.
Христианин в революции. «Н. Г.», № 12, П., 1937.

Эсхатология и культура. «Н. Г.», № 13, П. 1938.
Чернявский В. Предсказание Казота. «Грани», № 104, 1977.

* * *
* *
*

Aron Raymond. Les désillusions du progrès. Essai sur la dialectique de la modernité. Calman-Lévy, 1969.
Bergson Henri. L'énergie spirituelle. Presses Universitaires de France, 1946.
Buonarotti. La Conspiration pour l'Egalité dite de Babeuf. Paris, 1957.
Camus Albert. L'homme révolté. Paris, 1951.
Cohn Norman R. The pursuit of the Millenium. London, 1957.
Delumeau Jean. Le Christianisme va-t-il mourir? Hachette, 1977.
Glucksman André. La Cuisinière et le Mangeur d'hommes. Seuil, Paris, 1975.
Grilland Paul. Traité de la torture.
Janouch Gustav. Conversations with Kafka. New York, 1953.
Lefebvre Henri. Pour connaître la pensée de Lénine. Bordas, 1957.
Lévy Bernard-Henri. La barbarie à visage humain. Grasset, Paris, 1977.
Le Manuel des Inquisiteurs. Nicolau Eymerich. Francisco Peña. Mouton Editeur, Paris, 1973.
Marx Karl. A World without Jews. Philosophical Library, New York, 1959.
Meun Jean de. Le roman de la rose. Paris, 1973.
Robespierre. Textes choisis. Paris, 1974.
Rousseau Jean-Jacques. Du contrat social. Paris, 1966.
Saint-Just. Discours et rapports. Paris, 1957.

Soboul Albert. Mouvement populaire et gouvernement révolutionnaire de l'An II, 1793-1794. Paris, 1973.
Szamuely Tibor. The Russian Tradition. Martin Secker & Warburg Ltd, London, 1974.
Talmon J.-L. The Origins of Totalitarian Democracy. London, 1955.
Tocqueville Alexis de. The Old Regime and the French Revolution. Doubleday & Co., Inc., 1955.
Toynbee Arnold. Civilization on Trial and the World and the West. Meridian Books, Inc., New York, 1958.
Viereck Peter. The Roots of the Nazi Mind. New York, 1961.
Vovelle Michel. Religion et Révolution. Hachette, 1976.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Imprimerie P.I.U.F., - 3, rue du Sabot, - 75006 Paris

ISBN 2-85065-007-2